

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Виктория
Токарева



САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Виктория Токарева

Самый счастливый день

«Азбука»

2018

УДК 821.161.1-3Токарева
ББК 84(2Рос-Рус)6-44-я43

Токарева В. С.

Самый счастливый день / В. С. Токарева — «Азбука»,
2018 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21732-4

Рассказы занимают особое место в творчестве Виктории Токаревой. Теплые, очень живые, написанные неподражаемым, легким, «токаревским» языком. С удивительными героями, так напоминающими нас самих. С таким необходимым всем нам лейтмотивом: жизнь не испытание, а благо. Счастье в самом ее течении. А еще в сборник вошли автобиографические произведения об учебе в Институте кинематографии, путешествиях в Италию и общении с Федерико Феллини.

УДК 821.161.1-3Токарева
ББК 84(2Рос-Рус)6-44-я43

ISBN 978-5-389-21732-4

© Токарева В. С., 2018
© Азбука, 2018

Содержание

День без вранья	6
Уж как пал туман...	20
Будет другое лето	25
Инструктор по плаванию	33
Зануда	46
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Виктория Самойловна Токарева

Самый счастливый день

© Токарева В. С., 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021

Издательство АЗБУКА®

День без вранья

Сегодня ночью мне приснилась радуга. Я стоял над озером, радуга отражалась в воде, и получалось, что я между двух радуг – вверху и внизу. Было ощущение счастья, такого полного, которое может прийти только во сне и никогда не бывает на самом деле. На самом деле обязательно чего-нибудь недостает.

Я проснулся, казалось, именно от этого счастья, но, взглянув на часы, понял: проснулся еще и оттого, что проспал.

Скинув ноги с кровати, сел, прикидывая в уме, сколько времени осталось до начала урока и сколько мне надо для того, чтобы собраться и доехать до школы.

Если я прямо сейчас, босой, в одних трусах, побегу на троллейбусную остановку, то опоздаю только на полторы минуты. Если же начну надевать брюки, чистить зубы и завтракать, то после этого уже можно никуда не торопиться, а сесть и написать заявление об уходе.

Меня позвали к телефону. Это звонила Нина. Разговаривала она со мной так, будто она премьер-министр, а я по-прежнему учитель французского языка средней школы.

Сдерживая благородный гнев, Нина спросила, приду я вечером или нет. Я сказал: постараюсь, хотя знал, что не приду.

Вернувшись в комнату, я подумал, что последнее время вру слишком часто – когда надо и когда не надо, – чаще всего по мелочам, а это плохой признак. Значит, я не свободен, значит, кого-то боюсь – врут тогда, когда боятся.

Я надел брюки и решил, что сегодня никого бояться не буду.

Троллейбус был почти пуст, только возле кассы сидела женщина и читала газету. Она держала газету так близко к глазам, что казалось, будто прячет за ней лицо.

В десять часов утра мало кто ездит. Рабочие и служащие давно работают и служат, а те, кто не работает и не служит, в это время не торопясь одеваются, чистят зубы и завтракают. Для них десять часов рано.

Для меня десять часов поздно, потому что через двадцать минут я должен начать урок в пятом «Б».

Я преподаю французский язык с нагрузкой двадцать четыре часа в неделю. Я бы с удовольствием работал двадцать четыре часа в год, но тогда моя годовая зарплата равнялась бы недельной.

Когда-то я хотел учиться в Литературном институте, на отделении художественного перевода, но меня туда не приняли. Окончив иняз, хотел работать переводчиком, ездить с делегациями за границу, но за границу меня никто не приглашает, а самому ходить и напрашиваться неудобно.

Моя невеста Нина говорит, что я стесняюсь всегда не там, где надо. А ее мама говорит, что я сижу не на своем месте. «Своим» местом она, очевидно, считает такое, где моя месячная зарплата равнялась бы теперешней годовой.

Надо было платить за проезд. Я порылся в карманах, достал мелочь – три копейки и пять копеек. Подумал, что если брошу пятикопеечную монету, то переплачу: ведь билет стоит четыре копейки. Если же опущу три копейки, то обману государство на копейку. Посомневавшись, я решил этот вопрос в свою пользу, тем более что рядом не было никого, кроме близорукой женщины, которая читала газету.

Я спокойно оторвал билет, сел против кассы и стал припоминать, как мы с Ниной ссорились вчера по телефону. Сначала я говорил – она молчала. Потом она говорила – я молчал.

Женщина тем временем отложила газету и строго поинтересовалась:

– Молодой человек, сколько вы опустили в кассу?

Тут я понял, что она не близорука – наоборот, у нее очень хорошее зрение – и что она контролер. Опыт общения с контролерами у меня незначительный. Но сегодня я не воспользовался бы никаким опытом. Сегодня я решил никого не бояться.

– Три копейки, – ответил я контролерше.

– А сколько стоит билет? – Такие вопросы в школе называют наводящими.

– Четыре копейки, – сказал я.

– Почему же вы опустили три вместо четырех?

– Пожалел.

Контролерша посмотрела на меня с удивлением.

– А вот сейчас оштрафую вас, заплатите в десять раз больше. Не жалко будет?

– Почему же? – возразил я. – Очень жалко.

Контролерша смотрела на меня, я – на контролершу, маленькую, худую, с озябшими пальцами. Она была такая худая, наверное, оттого, что много нервничала – по своей работе ей приходилось ссориться с безбилетными пассажирами.

А контролерша, глядя на меня, тоже о чем-то думала: припоминала, наверное, где меня раньше видела. На меня многие так смотрят, потому что я похож на киноартиста Смоктуновского, только у меня волос побольше. Но моя контролерша, скорее всего, в кино ходила редко и Смоктуновского вряд ли знала.

– Может, вы просто забыли бросить копейку? – Это был следующий наводящий вопрос.

– Я не забыл. Я пожалел.

Такой искренний безбилетник контролерше, очевидно, раньше не попадался, и она не знала, как в таких случаях себя вести.

– Вы думаете, мне приятно брать с вас штраф? – растерянно спросила она.

– По-моему, в этом заключается ваша работа.

– Нет, не в этом: моя работа в том, чтобы касса делала полные сборы. Да. А некоторые так и норовят обмануть. Или вовсе ничего не платят, а билет отрывают... – Контролерша, видимо, хотела сказать мне о роли доверия на современном этапе к человеку, о принципе «доверяй, но проверяй» и о том, что именно они, контролеры, призваны повышать сознательность граждан.

Но ничего этого она не сказала, а, махнув рукой, прошла вперед и села под табличкой «Места для пассажиров с детьми и инвалидов».

Троллейбус остановился, я бросил в кассу пятикопеечную монету и сошел. Это была моя остановка.

В школе было тихо и пустынно. Школьный сторож Пантелей Степаныч, а за глаза просто Пантелей, сидел в одиночестве возле раздевалки в своей неизменной кепочке, которую он носил, наверное, с тех пор, когда сам еще ходил в школу.

Пантелей – и сторож, и кассир, и завхоз, он чинит столы и парты, прибавляет плакаты и портреты знаменитых людей. Если бы ему поручили, он мог бы преподавать французский язык в пятом «Б» и делал бы это с неменьшим успехом, чем я. Во всяком случае, приходил бы вовремя.

Увидев меня, Пантелей скорчил гримасу, как Мефистофель, и погрозил пальцем:

– Смотри, жене все скажу.

Это была его дежурная шутка. Молодым учительницам он говорил то же самое, но заменял слово «жене» словом «мужу»: «Смотри, мужу все скажу».

Учительниц это раздражало, потому что мужей у многих не было, а Пантелей каждый раз напоминал об этом.

Я стал раздеваться и уже видел свой пятый «Б» в конце коридора второго этажа: Малкин бежит по партам, давя каблуками чернильницы, а Собакин наверняка сидит под потолком.

В пятом «Б» раньше помещался спортивный зал, и в классе до сих пор осталась стоять шведская стенка. Собакин каждый раз забирается на самую верхнюю перекладину, и каждый раз я начинаю урок с того, что уговариваю его сойти вниз.

Обычно это выглядит так:

- Собакин! – проникновенно вступаю я.
- А! – с готовностью откликается Собакин.
- Не «а», а слезь сию минуту.
- Мне отсюда лучше видно и слышно.
- Ты слышишь, что я тебе сказал?
- А че, я мешаю?..

Дальше начинается ультиматум с моей стороны, что, если-де он, Собакин, не слезет, я прекращу урок и выйду из класса.

Собакин продолжает сидеть на стенке, завернув носы ботинок за перекладину. Класс молча, с интересом наблюдает. Несколько человек болеют за меня, остальные за Собакина.

Я проигрываю явно. Выйти я не могу: стыдно перед учениками и попадет от завуча. Собакин слезать не собирается. Мне каждый раз хочется подойти, стянуть его за штаны и дать с уха на ухо, как говорит Нинина мама, чтоб в стенку влип.

Кончается это обычно тем, что детям становится жаль меня, они быстро и без разговора водружают Собакина на его положенное место.

Сегодня я, как обычно, «открыл» урок диалогом с Собакиным.

- Собакин!
- А!
- Ну что ты каждый раз на стену лезешь? Хоть бы поинтереснее что придумал.
- А что?
- Ну вот, буду я тебя учить на свою голову.

Собакин смотрит на меня с удивлением. Он не предполагал, что я сменю текст, и не подготовился.

- А вам не все равно, где я буду сидеть? – спросил он.
- Я подумал, что мне, в сущности, действительно все равно, и сказал:
- Ну сиди.

Я раскрыл журнал, отметил отсутствующих.

Уроки у меня скучные. Я все гляжу на часы, сколько минут осталось до звонка. А когда слышу звонок с урока, у меня даже что-то обрывается внутри.

Я прочитал в подлинниках всего Гюго, Мольера, Рабле, а здесь должен объяснять imparfait спрягаемого глагола и переводить фразы: «это школа», «это ученик», «это утро».

Я объясняю и перевожу, но морщусь при этом, как чеховская кошка, которая с голоду ест огурцы на огороде.

Я скучаю, и мои дети тоже скучают, а поэтому бывают рады даже такому неяркому развлечению, как «Собакин на стенке». Сегодня Собакин слез сразу, так как, получив мое решение, потерял всякий интерес публики к себе, а просто сидеть на узкой перекладине не имело смысла.

Отметив отсутствующих, я спрашиваю, что было задано на дом, и начинаю вызывать к доске тех, у кого мало отметок и у кого плохие отметки.

Сегодня я вызвал вялого, бесцветного Державина, у которого мало отметок, да и те, что есть, плохие. Дети дразнят его «Старик Державин».

- Сэ ле... матен... – начал Старик Державин.
- Матэн, – поправил я и, глядя в учебник, стал думать о Нине.
- Матен, – упрямо повторил Державин.

Я хотел поправить еще раз, но передумал – у парня явно не было способности к языкам.

– Знаешь что, – предложил я, – скажи своей маме, пусть она перестанет нанимать тебе учителя, а найдет своим деньгам лучшее применение.

– Можно, я скажу, чтобы она купила мне батарейки для карманного приемника? – Державин посмотрел на меня, и я увидел, что глаза у него синие, мраморного рисунка.

– Скажи, только вряд ли она послушает.

Державин задумался, а я, взглянув на его сведенные белые брови, подумал, что он вовсе не бесцветный и не вялый – просто парню не очень легко жить с такой энергичной мамой и таким учителем, как я.

Через класс пролетела записка и шлепнулась возле Тамары Дубовой.

– Дубова, – попросил я, – положи записку мне на стол.

– Какую, эту?

– А у тебя их много?

– У меня их нет.

Я почувствовал, что, если вовремя не прекратить этот содержательный разговор, он может затянуться. Удивительно, в общении с Дубовой я сам становлюсь дураком.

– Ту, что валяется возле твоей парты, – сказал я.

Дубова с удовольствием подхватила, подняла записку, положила передо мной на стол и пошла обратно, вихляя спиной. Для нее это была большая честь – положить мне на стол записку, да к тому же даровое развлечение – пройтись во время урока по классу.

Читать записку при всех мне было неловко, а прочитать хотелось: интересно знать, о чем пишут друг другу двенадцатилетние люди. Я сунул записку в карман.

– Э тю прэ кри Мари а сон фрер Эмиль, – читал Державин.

– Переведи, – сказал я, незаметно вытащил под стол записку и стал тихо разворачивать: она была свернута, как заворачивают в аптеках порошки.

– «Ты готов? – кричит Мария своему брату Емеле...»

– Не Емеле, а Эмилю, – поправил я.

– Эмилю... Нон, Мари...

Я развернул наконец записку: «Дубова Тома, я тебя люблю, но не могу сказать, кто я. Писал быстро, потому плохо. Коля».

Теперь понятно, почему этот известный неизвестный каждый раз лазит под потолок.

Мне вдруг стало грустно. Подумал, что им по двенадцати и у них все впереди. А у меня все на середине.

– Садись, – сказал я Державину.

Я встал и начал рассказывать о французском языке вообще – не о глагольных формах, а о том, что мне самому интересно: о фонемоидах, о том, почему иностранец, выучивший русский язык, все равно говорит с акцентом; о художественном переводе, о том, как можно одну и ту же фразу перевести по-разному. Я читал им куски из «Кола Брюньона» в переводе Лозинского. Читал Рабле в переводе Любимова.

Мои дети первый раз в жизни слушали Рабле, а я смотрел, как они слушают: кто подперев кулаком подбородок, кто откинувшись, глядя куда-то в окно, залитое небом. Дубова ела меня глазами, следила, как движутся мои губы. Павлов смотрел мне прямо в лицо: в первый раз он глядел не сквозь меня.

Передо мной сидели тридцать разных людей, раньше все они казались мне похожими друг на друга, как полтинники, и я никого не знал по имени, кроме Собакина и Дубовой.

Потом мы вместе стали переводить первую фразу из заданного параграфа: «C'est le matin», и получилось, что эти три слова можно перевести в трех вариантах: «вот утро», «это утро» и просто «утро».

В конце урока я вызвал Павлова – мальчика, над которым все смеются. В каждом коллективе есть свой предмет для насмешек. В пятом «Б» это Павлов, хотя он не глупее и не слабее других.

Помня о фонемоидах, Павлов старался произносить слова в нос: хотел продемонстрировать такое произношение, чтобы француз не обнаружил в нем иностранца. Я не понимал ни слова, потому что он ухитрялся произносить в нос не только гласные, но и согласные.

Дети переводили глаза с меня на Павлова, с Павлова на меня. Я сидел непроницаем, как сфинкс, – они решили, что Павлов читает правильно. И не засмеялись.

Зазвенел звонок. Это Пантелей включил электрические часы. Мне показалось, что Пантелей рано их включил. Я сверил со своими – все было правильно. Урок кончился, а я не успел объяснить imparfait глаголов первой группы, не успел опросить двоечников.

Это значит отставание от программы; это значит высокий процент неуспеваемости; это значит будет о чем поговорить на педсовете.

На перемене я иду в столовую. Мне надо прежде зайти в учительскую, положить журнал. Но идти туда я не хочу, потому что встречу завуча или директора.

В столовой завтракает «продленный день». Возле буфета – очередь: девчонки и мальчишки тянут пятаки, каждый мечтает о пирожке с повидлом.

Я люблю наблюдать детей в метро, на улице, в столовой, но не на уроке. На уроке я испытываю так называемое «сопротивление материала».

Я хотел взять сосиски с капустой, но в это время в столовую вошла завуч Вера Петровна.

Я не умею правильно есть сосиски: люблю их кусать, чтобы кожица хрустела. Такая манера есть не соответствует светскому этикету, а обнаруживать перед завучем свою несветскость мне не хотелось.

Тем не менее я беру сосиски и иду к столу.

В обществе Веры Петровны я чувствую себя сложно. Семьи у нее нет, работает она хорошо – в этом смысл ее жизни. Семьи у меня тоже нет, работаю я плохо – и смысл моей жизни, если он есть, не в этом.

Для Веры Петровны нет людей умных и глупых, сложных и примитивных. Для нее есть плохой учитель и хороший учитель.

Я – плохой учитель. Перед ней я чувствую себя несостоятельным и поэтому боюсь ее. Я обычно стараюсь дать ей понять, что где-то за школьными стенами проходит моя иная, главная жизнь. И в той жизни я куда более хозяин, чем остальные учителя, которые не читают Рабле не то что в подлиннике, но и в переводе Любимова.

Сегодня я ничего не давал понять. Я ел сосиски прямо с кожицей, ждал, когда Вера Петровна начнет говорить о моем опоздании.

– Слякоть, – сказала она, глянув в окно. – Скорее бы зима...

Я промолчал. Мне вовсе не хотелось, чтобы зима приходила скорее, потому что у меня нет зимнего пальто. Кроме того, я понимал, что «слякоть» – это проявление демократизма. Это значило: «Вот ты опаздываешь, халтуришь, а я с тобой как с человеком разговариваю».

Я молчал. Вера Петровна блуждала ложкой в супе.

– Скажите, Валентин Николаевич, – начала она тихим семейным голосом, – вы после института пошли работать в школу... Вы так хотели?

– Нет, я хотел поехать в степь.

Я действительно хотел тогда поехать в степь.

Не для того, чтобы внести свой вклад, – его и в Москве можно внести. Не для того, чтобы наблюдать жизнь, – ее где угодно можно наблюдать.

Мне хотелось в другие условия, потому что, говорят, в трудностях раскрывается личность. Может, вернувшись потом в Москву, я стал бы переводить книги и делал бы это не

хуже, чем Лозинский. Может, во мне раскрылась бы такая личность, что Вера Петровна просто ахнула.

Но, кроме всего, мне хотелось посмотреть, какая она, степь, и познакомиться с людьми, которые живут там, работают и обходятся без московской прописки.

– В какую степь? – не поняла Вера Петровна. – В казахстанскую?

– Можно в казахстанскую, можно и в другие.

Вера Петровна, наверное, подумала, что я ее разыгрываю и что это неуместно.

– Что ж вы не поехали? – строго спросила она.

Теперь придется объяснять, что у меня очень больная мама, от которой ушел папа. И придется рассказать про Нину, которая к тому времени, когда меня распределяли, не закончила еще своего высшего образования, а заканчивает только в этом году.

– Я нужен был в Москве.

– Кому?

Вера Петровна думала, что я скажу – пятому «Б».

– Двум женщинам, – сказал я.

Завуч стала быстро есть суп. Она решила не задавать больше вопросов на посторонние темы, потому что неизвестно, о чем я еще захочу ей рассказать в порыве откровенности. Вера Петровна решила говорить только о деле.

– Вот вы сегодня опять опоздали, – начала она. – За эту неделю третий раз.

– Четвертый, – поправил я.

– Вам не стыдно?

Я задумался. Сказать, что совсем не стыдно, я не мог, стыдно – тоже не мог.

– Не очень, – сознался я.

– А напрасно. Вы понимаете, что это такое? Был звонок. Вас нет, дети волнуются...

– Что вы! – возразил я. – Наоборот, они думают, что я заболел, и очень рады.

Вера Петровна посмотрела на меня внимательно и вдруг смутилась. Наверное, подумала, что я кокетничаю с ней. Это было приятно ей, хоть я и плохой учитель. А я, когда она покраснела, впервые увидел, что она еще молода и вовсе не так самоуверенна.

– Скажите, – спросила она, – неужели у вас нет большой мечты? – Это был уже не навоящий вопрос. Это был простой человеческий вопрос.

– Есть. Я хочу писать рассказы.

– Почему же не пишете?

– Я пишу, но их не печатают.

– Почему? – изумилась она.

– Говорят, плохие.

– Не может быть. У вас должны быть хорошие рассказы.

Вот всегда так. Во мне всегда подозревают больше, чем я могу. Еще в детстве, когда я учился играть на рояле, учительница говорила моей маме, что я способный, но ленивый. Что если бы я не ленился, то из меня вышел бы Моцарт. А я точно знаю, что Моцарт бы из меня не вышел при всех условиях.

Во время нашего разговора в столовую вошла учительница начальных классов Кудрявцева. Она молчит, в разговоре не участвует, обдумывает предстоящий урок. Так хороший актер перед спектаклем входит в образ.

Появилась учительница пения Лидочка.

Она мечтает стать киноактрисой и свою работу в школе считает временной; знакома со многими знаменитыми писателями, артистами, и когда рассказывает о них, то называет: Танька, Лешка.

Пришел наш второй мужчина – учитель физкультуры Евгений Иванович, или, как его фамильярно зовут ученики, Женечка.

Меня ученики зовут «шик мадера», а Женечку «тюлей». Он считает меня размазней, интеллигентом, скучным человеком, потому что я не поддерживаю за столом Лидочкиных изысканных тем. Женечка понимает толк в стихах, любит народные песни, но стесняется обнаружить это. Ему нравится казаться хуже, чем он есть.

Мне нравится казаться лучше, чем я есть, Лидочке – талантливее.

Я редко встречаю людей, которые хотят казаться тем, что они есть на самом деле.

В конце перемены, перед самым звонком, является наш третий мужчина (всего, включая Пантелея, нас четверо), учитель физики Александр Александрович, или, как зовут его дети, Сандя.

Санде пятьдесят лет. Он любит говорить, что всех своих врагов нажил честно. Это правда. Сандя никого не боится, и, для того чтобы говорить правду, ему не надо постоять во сне между двух радуг. Сандя «режет» эту самую правду направо и налево. Он постоянно всем недоволен. И часто он прав. Но вместе с тем я всегда чувствую, что его больше всего интересует собственная персона. Я знаю, он подсчитывает, сколько съел за день жиров, белков и углеводов. Если углеводов не хватает, Сандя в конце дня съедает кусочек черного хлеба.

Сейчас он пил кофе с бутербродами, которые принес из дому. Ел бутерброд с икрой – в ней много белков – и на чем свет поносил новый фильм.

Фильм был на самом деле плохой, но я чувствовал, что Сандя врет.

– Послушайте, – поинтересовался я, – зачем вы врете?

Сандя на минуту перестал жевать. За столиком рассмеялись, потому что все видели фильм «Знакомьтесь, Балуюев».

– С вами сегодня невозможно серьезно разговаривать, – сказала Вера Петровна и поправила волосы.

Зазвенел звонок. Пантелей исправно нес службу. Мне надо было идти в девятый «А».

У нашей школы есть «преимущество» перед другими школами в районе – рядом колхозный базар. В других школах лучшие показатели по успеваемости и посещаемости, а возле нашей – базар.

Я пользуюсь этим преимуществом, чтобы купить Нине цветы и виноград. Дарить цветы считается признаком внимания и изысканности, а Нине будет приятно, если я проявлю внимание и изысканность.

Ходить с цветами по улице я стыжусь, поэтому прячу цветы в портфель.

За виноградом очередь метров триста. Если я стану в хвост очереди, тогда мне придется пройти мелкими и редкими шагами эти триста метров, а я тороплюсь к Нине.

Я подхожу прямо к продавщице и говорю ей, протягивая металлический рубль:

– Килограмм глюкозы.

Дальше действие начинает развиваться в двух противоположных направлениях. В кино это называется «параллельный монтаж» и «монтаж по контрасту». У меня одновременно и «параллельный», и «по контрасту».

Продавщица улыбается и начинает взвешивать мне виноград, отбирая спелые гроздья и выщипывая из них гнилые ягоды. Она так делает потому, что я не требую для себя никакого исключения, и потому, что я похож на Смоктуновского.

С другой стороны, мною заинтересовалась очередь, и выразителем ее интересов явился старик, который должен был получать виноград вместо меня и тоже приготовил для этой цели металлический рубль.

– Молодой человек, – строго сказал старик, – я вас что-то здесь не видел...

– Правильно, – подтвердил я. – Вы меня видеть не могли, я только что подошел.

– А вы, между прочим, напрасно обижаетесь, – укоризненно заметил старик. – Если вы отходите, надо предупреждать. В следующий раз дождитесь последнего, а потом уже идите по своим делам.

– Хорошо, – пообещал я.

Я взял виноград и пошел. Очередь энергично выразила свое отношение мне в спину.

Нина живет на улице Горького, за три остановки от рынка. Я мог бы сесть на троллейбус, но иду пешком, потому что у меня опять неудобные деньги: три копейки и пять копеек. Кроме того, троллейбус останавливается на противоположной Нинину дому стороне, а я не люблю переходить дорогу.

Говорят, что я со странностями. Я, например, помногу ем, а все равно худой. Перевожу рассказы с одного языка на другой, хотя об этом меня никто не просит и денег не обещает. Не даю частных уроков, хотя об этом меня просит большое количество людей и обещают по два пятьдесят за час.

Нина говорит, что я тонкая натура и у меня нервы.

Нинин папа – что в двадцать пять лет у человека нервов не бывает.

Нинина мама – что все зависит не от возраста, а от индивидуальных особенностей организма.

К моим индивидуальным особенностям она относится пренебрежительно. Презирает меня за то, что я живу в каком-то Шелапутинском переулке, а не в центре. За то, что я не из профессорской семьи, что у меня нет зимнего пальто, что я не снимаюсь в кино, не печатаюсь в газетах и зарабатываю меньше, чем она.

Чтобы понравиться Нининой маме, я, предположим, мог бы обменять свою комнату на меньшую и переехать на улицу Горького. Мог бы сшить себе хорошее пальто, напечататься в газете. Но заработать больше, чем Нинина мама, я не могу.

Нинина мама работает косметичкой. Дома она приготавливает крем для лица, но не для своего. Себе она покупает крем в польском магазине «Ванда», а тот, что делает, продает клиентам по три рубля за баночку.

Рецепт изготовления Нинина мама держит в большом секрете – боится, что стоит лишь намекнуть, как все сразу догадаются и тоже захотят сами делать крем.

Я бы, например, смог, потому что знаю секрет. Он прост, как все гениальное. Берется два тюбика разного крема, по пятнадцать копеек за тюбик – можно купить в аптеке, в парфюмерном магазине, можно при банях, в зависимости от того, куда удобнее зайти, чтобы не переходить дорогу. Надо взять два тюбика, выпустить крем из одного, из другого, перемешать палочкой или ложкой – лучше палочкой, потому что ложка будет пахнуть, – налить немного одеколона для запаха и аккуратно разложить по баночкам. Вот и все.

По-моему, не тяжело, и каждый при желании мог бы заменить Нинину маму на ее посту. Но она имеет на этот счет собственное мнение, отличное от моего. Двигается она с достоинством, кожа у нее белая – польские кремы, говорят, на меду и на лимонах. Собственные мнения, которых у нее много и все разные, высказывает медленно и в нос.

Нинин папа считается в доме на голову ниже мамы. Работает он инженером. Правда, он хороший человек, но, как говорит Нинина мама, хороший человек – не специальность, денег за это не платят.

Я все это понимаю, поэтому хожу к Нине редко – в тех случаях, когда она больна и когда мы ссоримся.

С Ниной мы знакомы пять лет, но наши отношения до сих пор не выяснены. За это время у нас было много хорошего и много плохого.

У меня такое чувство, будто сам Господь Бог поручил мне заботу о ней. И я не знаю, то ли жить без этого не могу, то ли мне это ни к чему. Я до сих пор не знаю, поэтому мы ссоримся. Вчера снова поссорились, и я опять не знаю, так ли необходимо идти к ней с цветами. Но

я представляю, как она отрывисто смеется, курит папиросу за папиросой, говорит всем, что наконец-то отделалась от меня, и не спит ночь. И вот я иду к ней после работы, чтобы она перестала курить и спала ночью.

Откровенно говоря, когда мы ссоримся, я начинаю думать о себе хуже, чем это есть на самом деле, а о Нине лучше. Начинаю смотреть глазами Нининой мамы. А мне хочется видеть себя глазами Нины.

Открыла мне соседка – видно, неправильно сосчитала количество звонков.

В квартире Нины живет восемь семей, и на двери прикреплен списочек всех жильцов в алфавитном порядке. Против каждой фамилии проставлено количество звонков.

Против Нининой фамилии – восемь звонков, потому что начинается она с буквы «Я» и стоит, естественно, последней.

Каждый раз, когда подхожу к двери, я думаю, что если нажимать кнопку редко, переживая после каждого звонка, то в квартире, как в мультфильме, из всех дверей в алфавитном порядке будут высовываться головы. Высовываться и слушать.

Я быстро звоню восемь раз. Представляю, как при этом все квартиросъемщики бросают свои дела и начинают торопливо считать, шевеля губами.

Сегодня мне открыла соседка, ее фамилия начинается с буквы «Ш» и стоит в списке перед Нининой. Она часто отпирает мне дверь, и мы хорошо знакомы.

Когда я вошел в комнату, Нина чертила, нагнувшись над столом, с умным видом рисовала кружок. Весь лист величиной с половину простыни был изрисован стрелочками, кружками и квадратиками.

Увидев меня, Нина перестала чертить, выпрямилась и покраснела от неожиданности, от радости, от обиды, которая еще жила в ней после ссоры, и оттого, что я застал ее ненакрашенной.

Моя Нина бывает красивая и некрасивая. Бесцеремонная и застенчивая. Умная и дура. Ее любимый вопрос: «Хорошо это или плохо?» – и каждый раз я не знаю, как ей ответить.

Мать поздоровалась со мной приветливее, чем обычно, и, прихватив соль, ушла на кухню. Я понял – она в курсе наших дел.

Я разделся и сел на диван. Нина снова принялась чертить. Мы молчали.

Она, видно, собиралась сказать мне нечто такое, что бы я понял раз и навсегда, но ждала, когда я начну первый. А я не начинал первый, и это злило ее.

Телевизор был включен. Шла передача «Встреча с песней». За столом сидели действующие лица и их исполнители, вели непринужденную дружескую беседу в стихах. Время от времени все замолкало, за кадром включали песню – тогда один из артистов принимался старательно шевелить губами. Артист, изображающий летчика, спел подобным образом две песни – одну тенором, а другую басом.

Когда передача закончилась, диктор стал перечислять фамилии тех, кто эту передачу готовил. Я подумал: хорошо бы всей этой компании приснилась ночью радуга.

– Валя! – Нина отложила карандаш. Не выдержала. – Прежде всего я хочу знать, за что ты меня не уважаешь?

Все-таки лучше, если бы она была только умная.

– С чего ты взяла, что я тебя не уважаю?

– Мы договорились в семь. Я ждала до семи пятнадцати, стояла, как не знаю кто... Я не говорю уже о любви, хотя бы соблюдай приличия...

Последнюю фразу Нина придумала не сама, заимствовала ее из немецкого фильма «Пока ты со мной» с Фишером в главной роли...

– Я пришел в семь шестнадцать, тебя не было, – сказал я.

– Почему же ты пришел в семь шестнадцать, если мы договорились в семь?

– Я не мог перейти дорогу: там, возле метро, поворот – и не поймешь, какая машина свернет, какая поедет прямо.

– Ну что ты врешь?

– Я не вру.

– Значит, считаешь меня душой...

– Иногда считаю.

Нина посмотрела на меня с удивлением. По ее сценарию я должен был сказать: «Брось говорить глупости, я никогда не считал тебя душой». Тогда бы она заявила: «И напрасно. Я действительно круглая дура, если потратила на тебя лучшие годы своей жизни».

Но я путал карты, и Нине пришлось на ходу перестраиваться.

– И напрасно... – сказала она. – Я все вижу. Все.

Что там она видит? Будто дело в том, пришел я в семь или в семь шестнадцать. Главное, что я не делаю предложения.

– Что ты видишь? – спросил я.

– То, что ты врешь. – Нина побледнела сильнее, наверное, действительно не спала ночь.

– Когда я говорю правду, ты не веришь.

– Ты не думал, что я вчера уйду...

Я понял, Нина решила не перестраиваться, а просто сказать мне все, что приготовила для меня ночью.

– Ты привык, что я тебя всегда жду. Пять лет жду. Но больше я ждать не буду. Понятно?

Вот тут бы надо встать и сделать предложение. Но я молчу.

Где-то в казахстанской степи есть сайгаки – такие звери, похожие на оленей. Я их видел в кино. Сайгаки эти жили еще в одно время с мамонтами, но мамонты вымерли, а сайгаки остались и, несмотря на свое древнее происхождение, бегают со скоростью девяносто километров в час.

Ленька Чекалин рассказывал, как охотился ночью с геологами на грузовике. Если сайгак попадает в свет фар, он не может свернуть, наверное, потому, что ночью степь очень черная и сайгак боится попасть в черноту.

Представляю, что он чувствует, когда бежит вот так, я очень хорошо представляю, поэтому не хотел бы охотиться на сайгака. Но вцепиться в борт грузовика, ощутить всей кожей пространство и видеть в высветленном пятне бегущего древнего зверя я бы хотел.

Если бы меня после института не оставили в Москве, я, может, увидел бы все это своими глазами. Но меня оставили в Москве, и я боюсь, что теперь никуда не поеду. А если женюсь на Нине, то вообще, кроме Москвы и Московской области, а также курортных городов Крыма и Кавказа, ничего не увижу.

Нина ждала, что я отвечу, но я молчал.

– И вообще ты врешь, будто переводишь по вечерам, – грустно сказала она. – Где твои переводы? Хоть бы раз показал...

– Нет никаких переводов. Я по вечерам к Леньке хожу, а иногда в ресторан.

– Я серьезно говорю. – Нина подошла ко мне. – Ты куда-то уходишь, я... ну, в общем, правда, покажи мне свои переводы.

– Да нет никаких переводов, – сказал я серьезно. – Я к Леньке хожу, а тебя не беру, ты мне и так за пять лет надоела. Там другие девушки есть.

Нина засмеялась, села возле меня, и я почувствовал вдруг, что соскучился. Мне даже невероятным показалось, что когда-то я обнимал ее. Нина быстро оглянулась на дверь. Я прижал ее к себе, услышал дыхание на своей шее, подумал – правда.

– Дурак, вот ты кто.

Эту фразу Нина не планировала, и это была ее первая умная фраза. День еще не кончился, и если мне повезет, то я услышу вторую.

В шесть часов пришел отец, и все сели за стол. В последнее время каждый раз, когда я прихожу, меня усаживают обедать.

Разливая суп, Нинина мама переводила глаза с меня на Нину, с Нины – на меня. Ей хотелось понять по нашим лицам, помирились мы или нет.

– Разольешь, – предупредил отец. Он сидел за столом в пижамных штанах, хотя жена каждый раз говорила ему, что это не «комильфо».

Нинина мама так ничего и не поняла по нашим лицам. Пребывать в неизвестности она больше не могла, поэтому спросила:

– Ну как?

Нина покраснела.

– Мама!

– Ну как суп, я спрашиваю. Валя, как вам суп?

Суп был нельзя сказать чтобы вкусный, но лучше, чем те, которые я ем в школе.

– Ничего, – сказал я.

Нинина мама посмотрела на меня с удивлением, потому что только последний хам может есть и хаять то, что ему дают. Бывают такие положения, в которых говорить правду неприличнее, чем врать. Но сегодня надо мной висела радуга.

– Очень вкусный, мамочка, – быстро сказала Нина.

Это была ее следующая умная фраза. Если так пойдет дело, то сегодня Нина побьет рекорд.

– Валя, вы читали в «Правде», как орлы напали на самолет? – спросил отец.

Вряд ли он спросил это из соображений такта. Просто знал, что следующий вопрос о супе жена предложит ему, за двадцать пять лет совместной жизни он выучил на память все ее вопросы и ответы.

– Читал, – сказал я.

– Что, что такое? – заинтересовалась Нина.

– Летел пассажирский самолет где-то в горах, кажется. А навстречу ему три орла. Один орел разогнался – и прямо на самолет.

– Идиот! – сказала Нинина мама.

– Ну, ну... – Нина нетерпеливо заерзала на стуле.

– Ну и упал камнем с проломленной грудью, а те два улетели, – закончил отец.

– Надо думать, – заметила Нинина мама, которая тоже улетела бы, будь она на месте тех двух орлов. – Только последний дурак бросится грудью на самолет.

– Это хорошо или плохо? – Нина посмотрела на меня.

– Для орла плохо, – сказал я.

– Ничего ты не понимаешь... – Нина стала глядеть куда-то сквозь стену, как Павлов сквозь меня, а я задумался: действительно, хорошо это или плохо? Мог бы я броситься грудью на самолет или улетел, как те два орла?..

– Представляешь, – медленно проговорила Нина, – наверное, он решил, что это птица.

Она глядела сквозь стену; в руках забытый кусочек хлеба, лицо растроганное и вдохновенное, глаза светло-зеленые, чистые, будто промытые. Если бы знать, что она может поехать за сайгаками, я согласился бы просидеть в этой комнате всю жизнь и никуда не ездить. Согласился бы каждый день общаться с ее мамой, каждый день встречать в школе Сандю – только бы знать, что Нина может поехать.

Все думали о своем и молчали, кроме Нининой мамы. Она, очевидно, думала о том, сделаю я сегодня предложение или нет, а вслух рассказывала про соседа, который ушел от жены к другой женщине, несмотря на ребенка, язву желудка и маленькую зарплату.

Фамилия этого человека начиналась с буквы «А», звонить ему надо было один раз, поэтому в лицо я его не видел. А жену видел и на месте соседа тоже не посмотрел бы на язву желудка и на маленькую зарплату.

– Прожить десять лет... как вам это нравится?! – возмущалась Нинина мама.

– Мне нравится, – сказал я. – На месте вашего соседа я бы раньше ушел.

Нина засмеялась.

– А как же, по-вашему, ребенок? – поинтересовалась мама.

Отец улыбнулся в тарелку.

– Уходят от жены, а не от ребенка.

Нина снова засмеялась, хотя я ничего смешного не сказал.

– Но ведь существуют... – Нинина мама стала искать подходящие слова. Мне показалось, я даже услышал, как закрипели ее мозги.

– Нормы, – подсказал отец.

– Нормы, – откликнулась Нинина мама и испуганно посмотрела на меня.

Я должен был бы сказать, что, конечно, существуют нормы и долг порядочной женщины строго их соблюсти. Но я сказал:

– Какие там нормы, если их друг от друга тошнит?

Отец хотел что-то сказать, но тут он подавился и закашлялся.

Жена хотела заметить ему, что это не «комильфо», но только махнула рукой и быстро проговорила:

– Дядя Боря звал в воскресенье на обед. Пойдем?

Значит, меня собираются представить будущим родственникам.

– А сегодня вас дядя не звал? – спросил я.

– При чем тут сегодня? – не понял отец.

– Ни при чем. Просто я жду, может, вы уйдете...

Нина бросила вилку и захохотала, а Нинина мама сказала:

– Вечно эти молодые выдрючиваются.

«Выдрючиваться» в переводе на русский язык обозначает «оригинальничать, стараться произвести впечатление».

Странно, сегодня я целый день только и старался быть таким, какой есть, а меня никто не принял всерьез. Контролерша подумала, что я ее разыгрываю, Вера Петровна – что кокетничаю, старик решил, что я обижаюсь, Нина уверена, что я острою, а Нинина мама – что «выдрючиваюсь».

Только дети поняли меня верно.

Родители ушли. Мы остались с Ниной вдвоем.

Нина, наверное, думала, что сейчас же, как только закроется дверь, я брошусь ее обнимать, и даже приготовила на этот случай достойный отпор вроде: «Ты ведешь себя так, будто я горничная». Но дверь закрылась, а я сидел на диване и молчал. И не бросался.

Это обидело Нину. Поджав губы, она стала убирать со стола, демонстративно гремя тарелками.

Я вспомнил, что у меня в портфеле лежат для нее цветы, достал их, молча протянул.

Нина так растерялась, что у нее чуть не выпала из рук тарелка. Она взяла цветы двумя руками, смотрела на них долго и серьезно, хотя там смотреть было не на что. Потом подошла, села рядом, прижалась лицом к моему плечу. Я чувствовал щекой ее мягкие теплые волосы, и мне казалось, что мог бы просидеть так всю свою жизнь.

Нина подняла голову, обняла меня, спросила таким тоном, будто читала стихи:

– Пойдем в воскресенье к дяде Боре?

За пять лет я так и не научился понимать ход ее мыслей.

– Денег не будет – пойдем.

– Какой ты милый сегодня! Необычный.

– Не вру, вот и необычный.

Зазвонил телефон. Нинины руки лежали на моей шее, и я не хотел вставать, Нина – тоже. Мы сидели и ждали, когда телефон замолчит.

Но ждать оказалось хуже. Я снял трубку.

– Простите, у вас случайно Вали нет? – робко спросили с того конца провода. Я узнал голос Ленки Чекалина.

– Случайно есть, – сказал я.

– Скотина ты – вот кто! – донесся до меня моментально окрепший баритон. Ленка тоже узнал меня. Я вспомнил, что обещал быть у него вечером.

– Здравствуй, Леня, – поздоровался я.

– Чего-чего? – Моему другу показалось, что он ослышался, потому что такие слова, как «здравствуй», «до свидания», «пожалуйста», он позабыл еще в школе.

– Здравствуй, – повторил я.

– Ты с ума сошел? – искренне поинтересовался Леня.

– Нет, просто я вежливый, – объяснил я.

– Он, оказывается, вежливый, – сказал Ленка, но не мне, а кому-то в сторону, так как голос его отодвинулся. – Подожди, у меня трубку рвут... – это было сказано мне.

В трубке шелкнуло, потом я услышал дыхание, и высокий женский голос позвал:

– Валя!

Меня звали с другого конца Москвы, а я молчал. Врать не хотелось, а говорить правду – тем более.

Сказать правду – значило потерять Нину, которая сидит за моей спиной и о которой я привык беспокоиться. Я положил трубку.

– Кто это? – выдохнула Нина. У нее были такие глаза, как будто она чуть не попала под грузовик.

– Женщина, – сказал я.

Нина встала, начала выносить на кухню посуду.

Она входила и выходила, а я сидел на диване и курил. Настроение было плохое, я не понимал почему: я прожил день так, как хотел, никого не боялся и говорил то, что думал. На меня, правда, все смотрели с удивлением, но были со мной добры.

Я обнаружил сегодня, что людей добрых гораздо больше, чем злых, и как было бы удобно, если бы все вдруг решили говорить друг другу правду, даже в мелочах. Потому что, если врать в мелочах, по инерции соврешь и в главном.

Преимущества сегодняшнего дня были для меня очевидны, однако я понимал, что, если завтра захочу повторить сегодняшний день, – контролерша оштрафует меня, Вера Петровна выгонит с работы, старик – из очереди, Нина – из дому.

Оказывается, говорить правду можно только в том случае, если живешь по правде. А иначе – или ври, или клади трубку.

В комнату вошла Нина, стала собирать со стола чашки.

– Ты о чем думаешь? – поинтересовалась она.

– Я думаю, что жить без вранья лучше, чем врать.

Нина пожала плечами:

– Это и дураку ясно.

Оказывается, дураку ясно, а мне нет. Мне вообще многое не ясно из того, что очевидно Санде, Нининой маме. Но где-то я недобрал того, что очевидно Ленке.

Ленка закончил институт вместе со мной и тоже нужен был в Москве двум женщинам. Однако он поехал в свою степь, а я нет. Я только хотел.

Пройдет несколько лет, и я превращусь в человека, «который хотел». И Нина уже не скажет, что я тонкая натура, а скажет, что я неудачник.

– Ты что собираешься завтра делать?

– Ломать всю свою жизнь.

Нина было засмеялась, но вдруг покраснела, опустила голову, быстро понесла из комнаты чашки. Наверное, подумала, что завтра я собираюсь сделать ей предложение.

Уж как пал туман...

– Челку поправь! – приказала Ирка.

– Как? – виновато поинтересовалась Наташа.

– Как, как, господи! – расстроилась Ирка, вытерла руки о фартучек и задвигалась вокруг Наташи. Двигалась она легко, прикосновения у нее были легкие, и пахло от нее французскими духами.

Ирка обладала тем типом внешности, о котором говорят: «Ничего особенного, но что-то есть». У Ирки было все: она работала в Москонцерте, в нее были влюблены все чтецы и певцы, ездила за границу – то за одну, то за другую. Собиралась замуж – у нее были наготове три или четыре жениха.

Наташа обладала тем типом внешности, о котором говорят: «Вроде все хорошо, но чего-то не хватает». То, что все хорошо, считала Наташина мама и еще несколько доброжелательных людей, остальная часть человечества придерживалась мнения, что чего-то не хватает. Со временем доброжелательные люди примкнули к остальной части человечества, верной осталась только мама. Она говорила: «У тебя, Наташа, замечательные волосы, к тебе просто надо привыкнуть».

– Сиди прямо! – приказала Ирка.

Она вышла из кухни, потом вернулась с французскими духами. Ирка не жалела для Наташи ни духов, ни одного из своих женихов, но это никогда ничем не кончалось. Певцы пели песни советских композиторов, чтецы читали: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?...» Фокусники показывали фокусы со спичками.

Не веря больше в эстрадный жанр, Ирка раздобыла где-то настоящего мужчину, который плавал в Баб-эль-Мандебском проливе и ходил с ружьем на медведя.

– Щас я тебя пофурыкаю, – предупредила Ирка.

– Не надо...

– Понимала бы! – Ирка заскакала вокруг Наташи, опрыскивая ее из пульверизатора.

– Не надо. – Наташе жаль было духов, которые назывались «Chat noir», что в переводе означает: «Черная кошка». – Все равно ничего не получится.

– Неизвестно, – возразила Ирка. – Он строит ГЭС, не помню какую, в труднейших условиях. Строитель лучшей жизни. Про таких Пахмутова песни пишет, а он к нам живой придет.

– Может, не придет? – с надеждой спросила Наташа.

В это время позвонили в дверь.

Наташа вздрогнула и посмотрела на Ирку, Ирка – на Наташу, выражение лиц у обеих на мгновение стало бессмысленным. Потом Ирка метнулась в прихожую, и оттуда послышались голоса.

Наташа сидела на низкой табуретке посреди кухни и не знала, что делать.

Она окончила консерваторию, умела петь с листа и писать с голоса, могла услышать любой самый низкий звук в любом аккорде. А здесь, на Иркиной кухне, она чувствовала, что это никому не надо и она не в состоянии поменять все то, что она может, на то, чего не может.

Наконец отворилась дверь и вошел настоящий мужчина, строитель лучшей жизни.

Наташа успела заметить, что рубашка у него белая и некрахмальная, лежит мягко... Волосы русые, растут просто, а лицо неподвижно, будто замерзло, и на нем замерзло обиженное выражение.

– Знакомьтесь, – сказала Ирка.

– Толя, – строитель протянул руку.

– Наташа, – она пожала его жесткие пальцы и посмотрела на Ирку.

– Садитесь, – непринужденно руководила Ирка.

Толя сел и прочно замолчал. Иногда он поднимал глаза на стену, а со стены переводил на потолок.

– Скажите, – начала Ирка, – вы действительно плавали в Баб-эль-Мандебском проливе?

– Ну, плавал, – не сразу ответил Толя.

– А как, как, как? – обрадовалась Ирка.

Толя очень долго молчал, потом сказал:

– В скафандре.

– А зачем? – тихо удивилась Наташа.

– А надо было... – недовольно сказал Толя.

– И на медведя ходили? – Ирка не давала беседе обмелеть.

– Ну, ходил...

– А как вы ходили?

Ирке надо было подтвердить, что в ее доме настоящий мужчина.

– С ружьем, – сказал Толя.

– Страшно было? – тихо поинтересовалась Наташа.

– Не помню. Я давно ходил.

Ирка тем временем подала кофе.

– Я коньяк принес, – сказал строитель, – на лестнице поставил.

– Почему на лестнице? – Ирка подняла брови.

– Не знаю, – сказал строитель, и Наташа поняла, что он постеснялся.

Ирка вышла на лестничную площадку и увидела возле своей двери бутылку.

– Могли стащить, – объяснила она, вернувшись.

– Ага... – беспечно сказал строитель.

– А вы есть хотите? – тихо спросила Наташа.

– Ужас! – сказал Толя, и всем стало весело.

Когда половина бутылки была выпита, Толя первый раз посмотрел на Наташу и сказал:

– Вчера попал в одну компанию, там такая девочка была... И парень с ней в кожаных штанах. Вам бы он не понравился.

– Почему? – спросила Наташа.

– Потому что вы серьезная.

«Как раз понравился бы», – подумала Наташа, но ничего не сказала.

– Ну, ну... – Ирка обрадовалась, что Толя заговорил.

– Он пижонить начал, говорит: в каждом человеке девяносто процентов этого... Ну, сами понимаете.

– Чего? – не поняла Ирка.

– Дерьма. А я ему говорю: «Ты не распространяй свое содержание на других».

Толя замолчал. Наташа поняла, что он обижен и переживает.

– Не обращайтесь внимания, – сказала она.

– Да вообще-то, конечно, – согласился Толя.

– Вы где живете?

– Нигде.

– Как это «нигде»?

– Очень просто. Плаваю – и все.

– А дом-то у вас есть?

– Был, а теперь нет. Давайте выпьем.

Все подняли рюмки.

– Жена сказала: «Надоел ты мне». Я и ушел.

– Жалко было? – спросила Ирка.

– Чего?

– Жену.

– Жалко. – Толя прищурился. – До слез жалко. Однажды ночью просыпаюсь и плачу. Слезы текут, ничего поделать не могу. Думаю: господи, да я ли это...

Все замолчали, думая о своей жизни, и только Ирка не умела думать о себе.

– Неужели никак нельзя было? – Она посмотрела на Толю.

– Наверное, нельзя. Я без жены еще как-то проживу. А без своей работы – нет.

– Понятно, – сказала Наташа. Ей это было понятно.

Ирка включила приемник. Заиграл симфонический оркестр.

У Толи глаза были голубые, а волосы русые. За его спиной висела занавеска, а за занавеской лежал город – далеко, во все стороны. А после города кончались дороги и начинались поля и деревни, потом другие города.

Наташа вдруг кожей ощутила это все: расстояние и бесконечность.

– Так-то ничего бы, – сказал Толя, – плохо только, писем нет. Когда на корабль письма приходят, как будто веревка от земли протягивается. Не утонешь, ни фиги с тобой не сделается. А когда писем нет...

– Хотите, я вам напишу? – предложила Наташа.

Толя промолчал. Ему не нужны были Наташины письма. Вот если бы написала жена или в крайнем случае девочка – приятельница парня в кожаных штанах.

Толя многое умел: ходить на медведя, опуститься на дно в скафандре. Он умел интересно жить, но не умел интересно рассказать об этом. И не в силах был поменять то, что он может, на то, чего не может.

– Ничего, – сказала Ирка, – все будет хорошо.

Ей хотелось, чтобы у всех было все хорошо.

Соседская девочка собиралась в детский сад. Она вытаскивала на середину комнаты все свои игрушки и разговаривала с ними. Слов было не разобрать, но звук голоса и интонации доносились четко. Дом был блочный, слышимость хорошая.

Наташа лежала с открытыми глазами, слушала девочку и думала о себе. О том, как три года назад Игорь сделал предложение, она согласилась в ту же секунду, потому что Игорь был не халтурщик – они много бы переделали в жизни хороших дел. А на другой день он позвонил, извинился и сказал, что передумал.

– Не сердишься? – спросил он.

– Да ну, что ты... – сказала Наташа. – Конечно, нет...

Говорят: война... А бывает, что и в нормальной жизни, среди гостей и веселья, все может кончиться одним телефонным звонком.

– Сни-ми-и! – кричала сверху девочка. Ей что-то надевали, а она протестовала.

В комнату из кухни вошла Наташина мама. Она работала медсестрой в больнице, любила тяжелобольных и презирала тех, кто болел несерьезно. Она любила людей, которым была необходима.

Мать послушала, как кричит сверху девочка, и сказала:

– Господи, всю нервную систему ребенку расшатали... – Если бы у нее была своя внучка, она ни за что не шатала бы ее систему, а жила только ее интересами.

– Мам, – сказала Наташа, – хочешь, я ребенка рожу?

– От кого?

– От меня.

– Идиотка! – сказала мать.

– Ну что ты ругаешься, я же только спрашиваю.

Зазвонил будильник, отпирая новый день.

Училище размещалось в старом особняке. Раньше в этом особняке жил обедневший дворянин. Комнаты были тесные, лестница косая. Наташа любила эти комнаты и лестницу, коричневую дверь с тугой и ржавой пружиной, тесноту и пестроту звуков.

В самой большой комнате, которую дворянин прежде называл «залой», а теперь все звали «залом», занимался хор.

Здесь все как обычно: та же декорация, сорок стульев, рояль. Те же персонажи – сорок студентов, концертмейстер Петя. Концертмейстер – профессия не видная. Например, по радио объявляют: «Исполняет Лемешев, аккомпанирует Берта Козель». Лемешева знают все, а Берту Козель не знает никто, хотя объявляют их вместе.

В консерватории Петя учился тремя курсами старше, его звали «членистоногий». Было впечатление, что у Пети на каждой руке по два локтя и на каждой ноге по два колена и что он весь может сложиться, как складной метр. Сразу после звонка отворяется дверь и появляется следующее действующее лицо – декан Клавдия Ивановна, за глаза – «та штучка». Она окончила университет, к музыке никакого отношения не имеет, не может отличить басового ключа от скрипичного. Осуществляет общее руководство.

Принцип ее руководства состоит в том, что раз или два раза в год она выгоняет какого-нибудь отстающего и неуспевающего. Раз или два раза в год под косой лестницей бьется обалдевшая от рыданий жертва, а вокруг тесным кольцом в скорбном и напряженном молчании стоят друзья-однокурсники, и каждый предчувствует на этом месте себя.

Сейчас «та штучка» вошла и села возле дверей на свободный стул. Студенты и студентки выпрямили позвоночники, как солдаты на смотре.

Наташа не обернулась. Пусть декан беспокоится, и царственно откидывает голову, и изобретает принципы. А она – дирижер. Ей нужны только руки, чтобы было чем махать, и хор, чтобы было кому махать. И хорошая песня – больше ничего. А посторонние в зале не мешают. К посторонним, равно как и к публике, дирижер стоит спиной.

– «Эх, уж как пал туман», – сказала Наташа и движением руки подняла хор.

Она внимательно смотрит на первые сопрано, потом на вторые. Идет от одного лица к другому. Это называется – собрать внимание. Но Наташа ничьего внимания не собирает. Слушает сосредоточенно: ждет, когда задрожит в груди поющая точка. Потом эта точка вспыхивает и заливает все, что есть за ребрами, – сердце и легкие. И когда сердце сокращается, то вместе с кровью посылает по телу вдохновение. Наташа до самых кончиков пальцев наполняется им, и становится безразличным все, что не имеет отношения к песне.

Наташа качнула в воздухе кистью, давая дыхание. Петя поставил первый аккорд. Сопрано послушали и вдохнули, широко и светло запели:

Эх, уж как пал туман на поле чистое-э...

Она потянула звук, выкинув вперед руку, будто держа что-то тяжелое в развернутой ладони. Потом обернулась к альтам.

...Да позакрывл туман дороги дальние... —

влились альты. Они влились точно и роскошно, именно так они должны были вступить. Наташа каждой клеточкой чувствовала многоголосие. Ничего не надо было поправлять.

Она опустила руки, не вмешиваясь, не управляя, давая возможность послушать самих себя. Все пели и смотрели на Наташу. Лицо ее было приподнято и прекрасно, и это выражение ложилось на лица всех, кто пел.

*...Эх, я куда-куда-а пойду,
Где дорожку я широкую-у найду-у, где...*

В следующую фразу должны вступить басы и вступить на «фа». Это «фа» было в другой тональности и шло неподготовленным. Если басы не попадут – песня поломается.

Наташа оглядывается на Петю, на мгновение видит и как-то очень остро запоминает его резкое, стремительное выражение лица и сильные глаза.

Петя чуть громче, чем надо, дает октаву в басах, чтобы басы послушали «фа» и почувствовали его в себе.

Наташа сбросила звук. Хор замер и перестал дышать. Она делала все, что хотела, и хор выполнял все, что она приказывала: могли бы задохнуться и умереть. Она держала сорок разных людей на кончиках вздрагивающих пальцев, и в этот момент становилась понятна ее власть над людьми.

В последнюю четверть секунды качнула локтями, давая дыхание, и все вздохнули полной грудью. Басы точно встали на «фа», отдали его в общий аккорд – самый низкий, самый неслышный, но самый определяющий тон.

...Где доро-ожку най-ду-у...

В конце все собираются в унисон, подтягивают, выравнивают последний звук до тех пор, пока не создается впечатление, будто он рожден одним только человеком. Наташа подняла два пальца, как для благословения, и слушает, и впечатление, будто забыла – зачем стоит. Потом медленным жестом подвигает палец к губам. Звук тает, тает... сейчас совсем рассеется, осядет на потолок и на подоконник. Но Наташины пальцы ждут, и губы ждут, и глаза – попробуй послушаться. И все подаются вперед и держат, держат звук до тех пор, пока это не становится невозможным. Тогда Наташа едва заметным движением зачеркивает что-то в воздухе и опускает руку.

Песня кончилась. Проходит некоторое время, прежде чем всем становится это ясно.

Урок окончился, и все разошлись. Петя засовывал в портфель ноты. Ноты не умещались.

Наташа подошла к окну и распахнула его настежь. На улице снег поблескивал, как нафталин. Он лежал на крышах совсем белый и был по тону светлее, чем небо.

Хорошо было стоять и немножко мерзнуть и возвращаться откуда-то издалека. Смотреть на снег, черные на белом фигурки людей, ощущать бесконечность.

Далеко-далеко висит звезда, а под ней висит Земля, а на Земле бывший особняк обедневшего дворянина. А на втором этаже, в трех метрах над людьми, стоит Наташа.

Песня получилась, значит, полгода прошли даром и сегодняшний день не пропал. А впереди следующая песня, которая будет лучше этой, а за ней другая. И это – ее! Здесь она ни от кого не зависит. Никто не может ни вмешаться, ни помешать.

«Проживу! – подумала Наташа. – Ничего, проживу!»

По улице быстро прошли два подростка. Они шли, одинаково сунув руки в карманы.

А Петя за спиной все никак не мог уложить ноты, наступал на портфель коленкой.

Наташа подошла, отобрала портфель и разложила: партитуры вдоль, а сборники – поперек. Потом легко закрыла портфель и протянула Пете. Петя озадаченно посмотрел на портфель, потом на Наташу. Он смотрел долго и вдруг удивился:

– Слушай, а у тебя потрясающие волосы. Ты это знаешь?

– Конечно, – сказала Наташа. – Ко мне просто надо привыкнуть...

Будет другое лето

Вечером мне позвонила из Ленинграда Майка и спросила:

– Ты на свадьбу ко мне приедешь?

– У меня разлад мечты с действительностью, – сказала я.

– Что?!

– Я хотела бы подарить тебе шубу, а могу только зубную щетку.

– Привези щетку, у моей как раз отломилась ручка.

Я представила себе, как приеду в Ленинград, как мне удивятся и обрадуются.

– Если тебя не будет... – У Майки ослаб голос.

– Не реви, – посоветовала я. – У тебя только три минуты.

– А приедешь?

– Приеду.

Утром я провожаю своего брата Борьку на работу. Сижу, подпершись ладошкой, гляжу, как он ест и пьет.

Глаза у Борьки синие, как у мамы, выразительные. Они могут выражать все, что угодно, но Борька этим преимуществом не пользуется и ничего своими глазами не выражает. Ест сырок, помахивая вилкой.

Мой брат – раб своего организма. Когда он хочет есть или спать, ему не до духовных ценностей.

– Вкусно? – спрашиваю я.

– Резина, – говорит Борька и принимается за другой сырок.

Уходя, он пересчитывает мелочь.

– Тебе оставить?

– У меня есть.

– Я оставлю двадцать копеек, – великодушно решает Борька и уходит, щелкнув замком.

Итак, у меня двадцать копеек. На них я должна пообедать, съездить в редакцию, купить Майке подарок и взять билет на Ленинград.

Раньше, когда была жива мама, она беспокоилась о Борьке, потому что он рос слабый и болезненный. Сейчас о нем беспокоюсь я, и Борька не представляет, что можно беспокоиться еще о ком-нибудь, кроме него.

Я сижу и думаю, где достать денег: во-первых, у кого они есть; во-вторых, кто их даст. Можно взять у Татьяны, соседки справа. У нее есть, и она даст, но на это уйдет два часа.

Татьяна – борец за правду. Она все время решает со мной общечеловеческие вопросы, при этом крепко держит за рукав, чтобы я не убежала.

Поначалу ее интересовало – отчего врачи, несмотря на ответственную работу, получают маленькую зарплату. Сейчас, когда зарплату врачам повысили, мою соседку заинтересовал вопрос о человеческой неблагодарности: почему люди часто не помнят хорошего и на добро отвечают злом?

Я каждый раз не знаю, почему это происходит, и каждый раз коченею от тоски.

Я иду за деньгами к Игорю – соседу напротив. Игорь закончил станкостроительный институт и работает в журнале «Крокодил», помещает в нем карикатуры и изошутки.

Когда была кампания против взяточничества, Игорь рисовал краснорожего взяточника. Когда стоял вопрос, чтобы не скармливали хлеб свиньям, он рисовал краснорожего мужика, который сыплет свиньям крендели и булки.

– Привет! – весело говорю я.

Игорь поднимает встревоженные глаза.

- Сколько тебе?
- Тридцать рублей.
- И все?
- Все.

Игорь радостно подхватывается, приносит мне деньги. Видно, боялся, что попрошу тысячу.

- Ты думал, я больше попрошу?
- Кто тебя знает. – Игорь снова усаживается за стол. – С твоим-то размахом.

Все думают обо мне, будто я живу с размахом. У меня в руках две бумажки, двадцать пять рублей и пять. Теперь я реально чувствую, что уеду сегодня в Ленинград.

- Ну как? – спрашиваю...

Игорь пожимает плечами и бровями.

Ему понятно, о чем я спрашиваю, а мне понятно, что он отвечает: уже два года он собирается жениться и все прикидывает, что он от этого потеряет, а что приобретет.

- Брось, – говорю я, – не рассчитывай. Все равно всего не утешь.

Возвращаюсь в свою комнату. С порога слышу телефонный звонок. Бегу, опрокидывая стулья. Сдергиваю трубку.

- Да!
- С вами говорит Дин Рид.
- Что тебе надо? – Я вдруг чувствую усталость, сажусь на стул.
- Выходи за меня замуж!

Я уже поняла, что звонит не Дин Рид, а Сашка Климов, и поняла, что американский певец сейчас в Москве на гастролях.

Сашка держит меня в курсе всех событий: когда было перешито сердце, Сашка тут же позвонил, представился Кристианом Барнардом и спросил – не хочу ли я за него замуж?

Сашка влюблен в меня. Об этом известно всему курсу. И мне известно. Прежде мне это нравилось, сейчас раздражает.

- Сашка, – говорю, – зайди в деканат, скажи, что меня неделю не будет.
- А где ты будешь неделю?
- Я уезжаю в Ленинград на свадьбу.
- Неуважительная причина, – замечает Сашка. Он ведет на курсе профсоюзную работу, знает законы.
- Тогда скажи – на похороны.
- На чьи?

Я перетряхиваю в голове всех родственников. К родственникам я не привязана, но смерти им не желаю.

- Почему свадьба – не причина? – торгуюсь я.
- Ведь свадьба не твоя.
- Похороны тоже не мои.

Странное дело: чем бы ни начинался наш с Сашкой разговор, кончается обязательно тем, что мы ссоримся.

- При чем тут я? – раздражается Сашка. – Не я ведь придумываю порядки...

Я бросаю трубку. Сашка действительно ни при чем, и порядки ни при чем. Просто я жду, что позвонит другой человек, а он не звонит.

Я иду в парикмахерскую. Хочу сделать прическу, чтобы нравиться.

В парикмахерской очередь. Все хотят нравиться. Все ждут мастера Зою. Мне безразлично, у кого причесываться, я потом все равно переделаю по-своему.

Я сижу в кресле перед высоким зеркалом, вижу в нем себя и парикмахершу. Парикмахерша тоже смотрит в зеркало, видит в нем только себя. По выражению ее лица ясно – она очень довольна тем, что видит. Бигуди кладет редко и неровно, но я стесняюсь сказать об этом. Я понимаю, что посажена в кресло из милости и вообще по сравнению с парикмахершей ничего не стою.

– Сушиться сорок минут, – предупреждает парикмахерша. Я понимаю, что на эти сорок минут у нее планы и чтобы я не вздумала соваться со своими.

Под феном душно, но я не обращаю внимания. Я сочиняю стихи. Это мое основное занятие в жизни. В перерыве между стихами я учусь в институте. Как говорит Борька – учусь на врача. Я вообще люблю участвовать в жизни других людей: сватать, советовать, лечить. Лечить мне пока не приходилось, а сватать и советовать – довольно часто. Пока от этого у меня одни неприятности.

Помогать людям – своеобразный эгоизм. Я не знаю, кому это больше нужно – людям или мне. Наверное, обеим сторонам.

Сочинять стихи, навязывать свое «я» – тоже своеобразный эгоизм. Но здесь это нужно только мне. Людям это безразлично. Они даже не знают об этом.

Качества своих стихов я пока не уяснила. В редакциях говорят «хорошие», но печатать не берут. Наверное, боятся, что не сумеют поддерживать журнал на уровне моих стихов.

Через сорок минут я возвращаюсь в кресло.

– Вам с начесом? – строго спрашивает парикмахерша.

– Так и так... – осмелев, я делаю вокруг головы несколько жестов.

– Я так не знаю, – одергивает меня парикмахерша.

– Делайте, как знаете.

Парикмахерша делает, как знает. Я бормочу благодарные слова и, оставив чаевые, иду в гардероб. Там достаю расческу и начинаю раздирать дремучий начес.

Очередь смотрит с интересом. Предусмотрительная очередь ждет Зою, у которой обеденный перерыв.

Зоя беседует с кассиршей, при этом ест калорийную булочку, запивая молоком из бутылки. На ее месте я поставила бы на столик бутылку, положила булочку и со всех ног бросилась на «Мосфильм» сниматься в главной роли. Никогда не видела таких редкостно красивых девушек. Зоя поставила на столик бутылку, положила булочку и подошла ко мне. Вытащив из кармана металлическую расческу, стала укладывать мои волосы сзади и сбоку. Я смотрела в зеркало на нее, она – на мои волосы. Они лежали небрежно и точно как на портретах из польского журнала «Экран».

– Спасибо, – сказала я.

– Пожалуйста, – ответила Зоя и спрятала расческу.

Иду по коридору редакции, читаю таблички на дверях: «Главный редактор». Это не то, вернее, то, но он меня не звал. «Литературный консультант Трофимов С. А.». Этот меня звал.

Я открываю дверь, но Трофимова не вижу, а вижу двух мальчишек, которые сидят на диване и беседуют. Один из них бородат, другой в женской кофте крупной вязки. Молодые дарования.

– Проходите, – приглашают дарования, – садитесь. Трофимов сейчас придет.

Я прохожу и сажусь, но не на диван, а на стул. Отвернувшись, гляжу в окно, вижу в стекле контуры своей головы и плеч.

Вошел Трофимов, стал беседовать с мальчишками, а я вытащила из портфеля «Правду», стала читать заголовки. Я читала заголовки, чтобы куда-нибудь деть глаза.

Мальчишки ушли. Трофимов стал смотреть на меня, потом сказал с каким-то даже ужасом:

– Как вы талантливы...

Это было подозрительно хорошее начало. Я опустила глаза, ждала, когда он скажет: «Хорошо, но мы не напечатаем».

– Очень интересно, – сказал Трофимов, – но мы не можем напечатать...

Больше ждать было нечего.

– Почему? – Я посмотрела ему в лицо. Увидела длинное расстояние от носа до верхней губы. Удобно бриться.

– Маленькие проблемы.

– Маленькие – это тоже большие.

Трофимов развел руками.

– Непонятно, где живет ваш герой.

– Мой герой влюблен, – сказала я, – а влюбленные везде примерно одинаковые.

Трофимов щелкнул языком, как Мастроянни в фильме «Развод по-итальянски», и стал смотреть в окно.

В литературных консультациях почему-то никогда не работают настоящие поэты. Наверное, потому, что им некогда.

Из редакции я еду на Ленинградский вокзал. Сейчас куплю билет и ночью уеду в Ленинград.

У каждого живущего на земле есть такое место, где ему всего уютнее. Мое место – Ленинград.

Здесь я родилась. На Васильевском острове мой дом, из которого я каждое утро, опаздывая, выбегала в школу. Мама высовывалась в форточку и кричала вслед: «Не беги!» – боялась, что я вспотею и простужусь. А когда я возвращалась обратно, мама звала: «Иди скорее!» – боялась, простынет обед. Мама всегда чего-то боялась.

В Ленинграде живет моя подружка Майка. Дружба у нас чисто женская. Самым большим праздником в Майкиной жизни были те дни, когда я получала двойку. А так как Майка училась хуже, то у меня таких праздников было больше.

В Ленинграде я пережила свою первую любовь. Мне было 12 лет, а ему 13. Его звали во дворе Пони за маленькое туловище и большую голову.

Может быть, существуют более яркая первая любовь и более искренняя первая дружба, но других первых у меня не было. Все, что было потом, – второе.

Я люблю Медного всадника и решетку Летнего, куда приводят туристов. Люблю обшарпанную Выборгскую сторону. Мне нравится просто бродить по улицам, я узнаю их и не узнаю. От этого мне грустно и хочется жить лучше, ярче, чем я живу сейчас.

Я иду к вокзалу и улыбаюсь. Представляю, как вбегу в темный, пахнущий кошками Майкин подъезд. Как мне откроют дверь, шумно удивятся и шумно обрадуются. Как будут кормить меня, поить и смотреть с восхищением. А я в этих взглядах почувствую себя легко и блаженно, будто в теплой ванне. Захмелевшая, буду рассказывать о себе в Москве: как живу на Борькину зарплату, как меня не печатают, как схожу с ума по женатому человеку. А все будут слушать, смеяться и завидовать. Им тоже вдруг захочется есть плавленые сырки, захочется бесперспективной любви.

Я подхожу к вокзалу и улыбаюсь.

Неожиданно, как из карточной колоды, передо мной возникает цыганка – темнолицая, с плохими зубами. Не Кармен.

– Зачем спешишь, красавица? У тебя не будет дальняя дорога...

– Почему? – Я с удивлением смотрю в ее круглые глаза с черными точечками у зрачков.

Цыганка быстро отводит меня к вокзальной стене, начинает торопливо говорить насчет того, что я простая и нехитрая – от этого у меня все неприятности. Я слушаю, морщась от напряжения, не могу разобрать половины слов. Говорит она без пауз и без интонаций, с каким-то неясным акцентом, и такое впечатление, что сама не понимает, о чем говорит.

– Что, что? – переспрашиваю я.

– У тебя деньги есть? – отдельно интересуется цыганка, хотя перед этим говорила явно другой текст.

Я достаю из кармана мелочь.

– Не жалко?

Я на минуту задумываюсь, потом трясую головой. Не жалко.

Какие могут быть разговоры, если за несколько медяков получу профессиональную информацию: что у меня было, что будет, чем сердце успокоится.

Цыганка начинает что-то бормотать. Я жду. Вижу еще нескольких представительниц вольнолюбивого племени, худых от подвижного образа жизни. Бродят в платках и длинных юбках, ищут другую такую дуру, как я.

Воспользовавшись моей задумчивостью, цыганка дергает меня за челку, выдирает оттуда несколько волосков, начинает дуть на них. Потом спрашивает:

– Кого тебе показать, врага или короля?

Я думаю: враги у меня несерьезные, а короля хорошо бы знать в лицо, чтобы не пропустить при встрече. Не принять за кого-нибудь попроще.

– Короля!

Цыганка делает внезапный мистический жест, и я вижу в ее сухой руке маленькое зеркальце, какое продают обычно в «Галантерее» за 30 копеек. Это зеркальце на уровне моего лица, я заглядываю туда и вижу свой нос, рот и угол щеки.

Короля я там не увидела. Собралась было удивиться вслух, но у цыганки была своя программа.

– У тебя бумажные деньги есть?

У меня лежала в сумке сиреневая 25-рублевая бумажка, но мне почему-то не хотелось извещать об этом свою собеседницу.

Цыганка заметила следы борьбы на моем лице. Поняла меня верно.

– Ты мне не веришь?

– У меня нет денег, – нерешительно сказала я.

– Ты что, не веришь? – Цыганка широко раскрыла очи черные, очи жгучие.

Мне стало неудобно, я достала деньги и, чувствуя, как во мне все сопротивляется этому жесту, протянула их цыганке. Она взяла хрустнувшую бумажку, я все еще не выпускала ее из рук. Мы некоторое время стояли так – она тянула к себе, я к себе. Что чувствовала при этом цыганка, я не знаю. Во мне шла борьба темного со светлым, подозрительности с верой в человечество. Светлое начало победило. Я разжала пальцы, и деньги исчезли в темном кулачке. Цыганка зачем-то стала мять новенькую бумажку. Мяла-мяла, она становилась все скомканнее и меньше. Я больше не глядела по сторонам и ни о чем постороннем не думала. Я не сводила глаз с этого кулачка.

Цыганка тем временем перестала двигать пальцами, разжала кулак и показала мне пустую ладонь. Она показала мне фокус.

Боясь поверить, я спросила:

– А где деньги?

– Улетели.

– Куда?

– Туда, – цыганка показала куда-то вверх.

Я посмотрела в этом направлении, но денег не увидела, а увидела большие, светящиеся неоновыми буквами «Ленинградский вокзал».

– Послушайте, – тихо сказала я, – отдайте мне их обратно. Пожалуйста. Я вас очень прошу.

При слове «очень» мои глаза наполнились непролившимися слезами, руки я стиснула перед грудью и в этот момент походила со стороны на камерную певицу.

Цыганка вдруг сказала мне грубое слово. Это было неожиданно, но не удивило меня. Меня удивило то, как переменились ее глаза. Я никогда не представляла себе, что на человеческом лице могут быть такие глаза.

К моей цыганке стали подходить остальные, хотя с меня было вполне достаточно одной. Я повернулась и пошла от вокзальной стены. Иногда останавливалась, мотала головой, как лошадь. И все люди, идущие навстречу, казались цыганами.

Раньше, прошлый год, когда мне везло или не везло, я шла к нему домой, на Смоленскую. И сейчас я иду к нему, но не на Смоленскую, как раньше, а на Таганку. Там его мастерская.

Я звоню в дверь и пугаюсь, что его нет. Но он есть.

Он отпирает и смотрит на меня.

– Поздоровайся со мной, – говорю.

Он молчит. Лицо такое, будто слушает музыку – «Лунную сонату».

Прохожу мимо него в прихожую, оттуда в комнату.

На полу разложены рисунки – один к другому. То ли он сушит их подобным образом, а может, ему удобнее с высоты двухметрового своего роста глядеть на дело рук своих.

Останавливаюсь перед рисунками, ничего не вижу, кроме черно-белых пятен.

– Я пришла взять очки, – говорю, глядя в пол.

Месяц назад я забыла у него очки от солнца. Сейчас осень, очки не нужны. Он это понимает. Я знаю, что он это понимает.

Мы молчим. Он смотрит на меня. Я – в пол.

Вдруг из черно-белых пятен различаю среди заснеженных деревьев спину мальчика. Мальчик идет в школу: в одной руке несет портфель, в другой – мешочек для галош. По тому, как отведен портфель, как натянута веревочка, по линии плеч вижу, что мальчику не хочется идти в школу.

– Нравится?

– Непонятно, – говорю, – в какой стране живет твой мальчик.

– Мальчики во всех странах одинаково не хотят ходить в школу.

Не надо мне было на него смотреть.

– Принеси очки.

Он отделяется от стены, подходит ко мне. Обнимает.

Моя щека помнит его щеку. Рука – его плечо. Будто когда-то уже было так же, тысячу лет назад. При первом моем рождении. Была эта же комната. Стояла такая же напряженная густая тишина. Он целует меня. И это я тоже помню. Отвожу лицо.

– Не надо.

– Почему?

– Не надо.

Это я из самолюбия. Кому оно нужно сейчас, мое самолюбие...

– Ты извини, что я не звонил.

Зачем извиняться? Не звонил и не звонил.

Я вижу его ухо и край щеки, тлеющий румянцем. В линии затылка и спины есть что-то невзрослое. Молчит, мотает на указательный палец короткую нитку. Потом перестает мотать, смотрит через глаза прямо мне в душу.

– Неужели ты не понимаешь?

Я все понимаю. На Смоленской, в двадцати минутах езды на метро, живет маленький незнакомый мальчик. Его сын.

– Я все понимаю. Ты хочешь, чтобы были и волки сыты и овцы целы.

Он встает, отходит к окну. Кажется, я добила своего – ему неприятно. Но мне не легче. Мне от этого еще хуже.

На окно налипли сумерки. В комнате темно. От зажженного за окном фонаря на полу косая зыбкая тень рамы. И мне кажется – это наш дом. Встретились вечером, каждый после своих дел, и не надо расставаться. Ни сегодня, ни завтра. Никогда.

Я осознаю вдруг, что если сейчас зажечь свет – исчезнет тень на полу. Обозначатся голые стены. Дом не мой. Он не мой. Ощущение сиюминутности.

Я не хочу зажигать свет. Хочу, чтобы все осталось так, как сейчас. Говорю:

– Зажги свет.

– Не надо, – просит он. – Так лучше.

– Поздно. Отвези меня домой.

Хоть бы не послушал.

Наша машина идет среди других машин и внешне ничем от них не отличается.

Он курит молча. Лицо отчужденное – такое впечатление, будто мы поссорились.

Я смотрю на его профиль, на рукав пальто. Мне кажется, что едем мы в последний раз и видимся в последний раз. Я мысленно ласкаю его, говорю самые нежные и нужные слова, каких я ему никогда не говорила раньше, а теперь и подавно не скажу.

Он переключает скорость. Я боюсь скоростей, но сейчас мне хочется, чтобы он ехал еще быстрее, хочется врезаться во что-нибудь, чтобы больше не думать. Спрашиваю:

– Ты на похороны мои придешь?

– Если будет время, – говорит он и выкидывает папиросу через опущенное стекло.

Машина останавливается против моего дома. Мне хотелось бы ехать долго, но мы уже приехали.

– Ты так ничего и не поняла, – говорит он.

– До свидания. – Я дергаю ручку и выхожу из машины.

Есть такое выражение: через силу. Это, наверное, когда сила тянет в одну сторону, а ты идешь в другую.

Я вхожу в комнату. Не раздеваясь, в плаще и косынке, сажусь на тахту.

Борька опускает газету, глядит на меня.

– Ты чего?

– Ничего.

Как неэкономно устроена жизнь. Даже старые, изношенные платья не выбрасывают, а рвут на тряпки и используют в хозяйстве. А такая редкость, как любовь, если она не нужна тому, на кого направлена, то она вообще никому не нужна. Никому не нужны моя любовь, талант и преданность.

– Перестань курить. Мне душно.

– А куда я пойду курить? – Борька несколько раз сильно затягивается, потом винтообразным движением тушит папиросу в пепельнице. Вокруг него зыбким голубым туманом плывет дым.

– Открой окно, – прошу я.

– Мне будет холодно спине.

– Эгоист! – Я чувствую, как от слез тяжело и неудобно глазам. – Ну почему вы все такие эгоисты?

– Это ты меня на «вы» называешь? – уточняет Борька.

В этот момент на кухне раздается грохот, будто выстрелили из ружья. Исходя из прошлого опыта, догадываюсь, что это с плиты свалилась сковорода. Она свалилась на бутылки из-под кефира, которые стоят возле плиты.

– Знаешь что, ты или бутылки убирай, или сковороду клади в другое место. Обратно у тебя все летит.

Борька любит слово «обратно»: у меня «обратно порвались носки» или «ты обратно все делаешь наоборот».

Ночью я еду в Ленинград. Деньги мне дала Татьяна, причем довольно быстро, не выясняя смысла жизни.

– Спасибо, – сказала я.

– Пожалуйста, – ответила Татьяна.

Так и бывает в жизни, когда человек выручает человека. «Спасибо», – говорит один. «Пожалуйста», – отвечает другой.

Я еду в свой город на чужую свадьбу, везу в подарок дымчатые очки, каких не достанешь. Сейчас, правда, осень, очки не нужны. Но ведь будет другое лето.

Инструктор по плаванию

Я лежу на диване и читаю учебник физики.

«Когда в катушке тока нет, кусок железа неподвижен...» Это похоже на стихи:

*Когда в катушке тока нет,
Кусок железа неподвижен...*

Ни катушка, ни кусок железа меня не интересуют совершенно. Я изучаю физику для двух людей: для мамы и для Петрова.

Петрова недавно видели с красивой блондинкой. Я понимаю, что обижаться – мешанство и чистейший эгоизм. Если любишь человека, надо жить его интересами. «Если две параллельные прямые порознь параллельны третьей, то они параллельны между собой». Значит, если я люблю Петрова и блондинка любит Петрова, то я и блондинка должны любить друг друга.

В комнату вошла моя мама и сказала:

– Если ты сию минуту не встанешь и не пойдешь за солью, я тебе всю морду разобью!

Надо заметить, что моя мама преподаватель зарубежной литературы в высшем учебном заведении. У нее совершенно отсутствует чувство юмора. Пианино она называет музыкальным инструментом, комнату – жилой площадью, а мое лицо – мордой.

Юмор – это явление социальное. Он восстанавливает то, что разрушает пафос. В нашей жизни, даже в моем поколении, было много пафоса. Зато теперь, естественно, много юмора.

– Ну объясни, – просит мама, – что вы за люди? Что это за поколение такое?

Мама умеет за личным видеть общественное, а за частным – общее.

– При чем тут поколение? – заступаюсь я. – Я уверена, стоит тебе только намекнуть, как все поколение тут же ринется за солью, и только я останусь в стороне от этого общего движения.

Мама привычным жестом берет с полки первый том Диккенса и не целясь кидает в мою сторону. Я втягиваю голову в плечи, часто мигаю, но делаю вид, что ничего не произошло.

Я понимаю – дело не в поколении, а в том, что неделю назад я провалилась в педагогический институт и теперь мне надо идти куда-то на производство. Я вообще могу остаться без высшего образования и не принести обществу никакой пользы.

У меня на этот счет есть своя точка зрения: я уверена, например, что моя мама принесла бы больше пользы, если бы работала поваром в заводской столовой, кормила голодных мужчин. Она превосходно готовит, помногу кладет и красиво располагает еду на тарелке. Вместо этого мама пропагандирует зарубежную литературу, в которой ничего не понимает. «Диккенс богат оттенками и органически переплетающимися противоречивыми тенденциями. Понять его до конца можно, лишь поняв его обусловленность противоречивым мироощущением художника».

Не знаю – можно ли понять до конца писателя Диккенса, но понять на слух лекции мамы невозможно. Не представляю, как выходят из этого положения студенты.

Эту точку зрения, так же как и ряд других, я держу при себе до тех пор, пока мама не кидает в меня щеткой для волос. После чего беседа налаживается.

– Ну что ты дерешься? – обижаюсь я. – Каждый должен делать то, что у него получается. Я намекаю на мамину деятельность, но она намеков не понимает.

– А что у тебя получается? Что ты хочешь?

– Откуда я знаю? Я себя еще не нашла.

Это обстоятельство пугает маму больше всего на свете. Если я не нашла себя в первые восемнадцать лет, то неизвестно, найду ли себя к следующим вступительным экзаменам.

– Ты посмотри на Леру, – советует мама.

Лера поступила во ВГИК на киноведческий факультет. Кто-то будет делать кино, а она в нем ведать.

– А ты посмотри на Соню, – предлагаю я свою кандидатуру. – По два года сидела в каждом классе, а сейчас вышла замуж за капиталиста. В Индии живет.

– В Индии нищета и инфекционные заболевания, – компетентно заявляет мама.

– Вокруг Сони нищета, а ее индус дом имеет и три машины.

– Тебе это нравится?

– Нищета не нравится, а три машины – хорошо.

– А что она будет делать со своим индусом? – наивно интересуется мама.

– То, что делают муж и жена.

– Муж и жена разговаривают. А о чем можно говорить с человеком, который не понимает по-русски?

– Она его научит.

– Можно научить разговаривать, а научить понимать – нельзя.

– Ты же со мной разговариваешь, а меня совершенно не понимаешь. Какая в этом случае разница – жить с тобой или с индусом?

– Таня, если ты будешь так отвечать, – серьезно предупреждает мама, – я тебе всю морду разобью.

– А что, я не имею права слова сказать?

– Не имеешь. Ты вообще ни на что не имеешь никакого права. Потому что ты никто, ничто и звать никак. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, я жила в общежитии, ела в день тарелку пустого супа и ходила зимой в лыжном костюме. А ты... Посмотри, как ты живешь!

Мама думает, что трудности – это голод и холод. Голод и холод – неудобства. А трудности – это совсем другое.

Я никто, ничто и звать никак. Разве это не трудность?

У Петрова – блондинка. А это не трудность?

Мне иногда кажется, что мама никогда не была молодой, никогда не было войны, о которой она рассказывала, никогда не жил Чарльз Диккенс – все началось с того часа, когда я появилась на свет. В философии это называется «мир в себе».

– У нас были общие радости и общие трудности, – продолжает мама свою мысль.

– Тогда были общие, – говорю я, – а сейчас у каждого свои.

Мама стремительно смотрит вокруг себя, задерживается глазами на керамической пепельнице. Так спорить невозможно. Я предупреждаю об этом вслух, но мама с моим заявлением не считается. И через пять минут в комнате соседей покачивается люстра и нежно звенит в серванте хрусталь.

А еще через пять минут я стою, но уже не в комнате, а на улице, посреди двора.

Никто в этой жизни не любит меня больше, чем мать, и никто не умеет сильнее обидеть. В философии это называется «единство и борьба противоположностей».

Подруга Лера сказала бы по этому поводу так:

«Надо уметь отделять рациональное от эмоционального. Родители на то и созданы, чтобы воспитывать, а дети для того и существуют, чтобы создавать поводы для забот. Каждое поколение испытывает на себе любовь родителей и неблагодарность детей. Что же касается индуса, то тут особенно важно отделить рациональное от эмоционального. Ни в коем случае нельзя ориентироваться на страсть, надо учитывать перспективы отношений, брать мужа на вырост».

Петров – муж на вырост. Через десять лет он станет молодым профессором, а я женой молодого профессора. Я буду приносить пользу мужу, а он всему обществу – за меня и за себя. Жаль, что Петров женится не на мне, а на блондинке. Хотя их отношения с блондинкой ни на

чем не стоят, а у нас с Петровым общее прошлое: мы вместе рыли картошку в колхозе. Может быть, когда-нибудь он вспомнит об этом и позвонит мне по телефону.

Петров очень остроумный человек. Он весь состоит из формул и юмора. Юмор, конечно, восстанавливает то, что разрушает пафос, но когда его очень много – он сам начинает разрушать. Так же, как ангина разрушает сердце. От частых ангин бывает недостаточность митрального клапана, с этим очень неудобно жить. А от хронического юмора образуется цинизм, с которым жить очень удобно, потому что человек все недооценивает. Всему назначает низкую цену.

У мамы мало юмора, она ко всему относится торжественно и все переоценивает. У Петрова много юмора, он ко всему относится снисходительно, все недооценивает. Лера все время отделяет рациональное от эмоционального. Всему знает точную цену. Она умеет и в жизни «руду дорогую отличить от породы пустой».

А я ничего не знаю и не умею. Потому что я себя не нашла. И меня никто не нашел.

Рядом с нашим домом продовольственный магазин, а возле магазина большая лужа. Зимой она замерзает, тогда дворничиха Нюра посыпает ее песком или крупной солью, чтобы люди не падали. Сейчас конец августа, начало дня, лужа стоит полная и белая от молока. Вчера в нее с грузовика свалился ящик с шестипроцентным молоком.

Возле лужи собираются кошки, они спокойно сидят, вытянув хвосты, а люди куда-то торопятся, и всем свое дело кажется самым важным.

У меня развито стадное чувство. Когда я вижу бегущих людей, я бегу вместе со всеми, даже если мне надо в противоположную сторону.

Однажды мы с Лерой собрались на ее дачу и приехали с этой целью на Савеловский вокзал. Лера пошла за билетами, а я осталась ждать на платформе. В это время со второго пути отправлялся поезд, который редко ходит и далеко везет. Вокруг меня все пришло в движение и устремилось ко второму пути. Люди бежали так, будто это был самый последний поезд в их жизни и вез их не в Дубну, а в долгую счастливую жизнь.

Я услышала в своей душе древний голос и бросилась бежать вместе со всеми, не различая в общем топоте своего собственного. Когда я вскочила в вагон, то испытала облегчение, доходящее до восторга. Потом, конечно, я испытала оторопь и растерянность, но это было уже потом, когда поезд тронулся.

Лера не понимает, как можно вскочить в ненужный тебе поезд. Она до сих пор не понимает, а я до сих пор не могу объяснить.

Я давно миновала свой двор и несколько улиц, когда увидела бегущих людей. Они пронеслись мимо меня, потом остановились – в передних рядах произошла кратковременная борьба. Потом все повернулись и бросились в другую сторону.

Я заглушила в себе древний голос, отошла и попробовала сосредоточиться. Со стороны, как правило, виднее, я все поняла: действие происходит перед театром, массы стреляют билет на утренний спектакль.

Я не люблю стрелять билеты. В этом есть что-то унижительное. Те, у кого заранее припасены билеты, чувствуют необоснованное превосходство и на вопрос, нет ли у него лишнего, могут ответить: «Есть. В баню». Каждому приятно почувствовать превосходство, пусть даже временное и необоснованное. Я это понимаю, но не принимаю. Поэтому просто отхожу в сторону, ни у кого ни о чем не спрашиваю, при этом у меня вид поправленной женственности. Такой вид часто бывает у хорошеньких продавщиц, которые собрались завоевывать мир, а попали за прилавок.

Сегодня я тоже отхожу в сторону и смотрю, как ведут себя возле театра. Если бы в кассе были свободные билеты, людям хотелось бы на спектакль гораздо меньше или не хотелось бы совсем.

Ко мне подошла блондинка в белом пальто и таинственно спросила:

– Можно вас на минуточку?

– Можно, – согласилась я и пошла за ней следом. Я не понимала, куда она меня ведет и с какой целью. Может быть, это была блондинка Петрова и ей совестно смотреть мне в лицо?

Блондинка тем временем остановилась и достала из лакированной сумочки билет – голубой, широкий и роскошный.

– Продаете? – догадалась я.

У меня в кармане было семь копеек – ровно на пачку соли.

– Отдаю, – поправила меня блондинка.

– Почему?

– Он мне даром достался.

– А почему мне, а не им? – Я кивнула в сторону дышащей толпы.

– Боюсь, – созналась блондинка. – Растерзают.

Я обрадовалась и не знала, как приличнее: скрыть радость или, наоборот, обнаружить.

– Вам правда не жалко?

– Правда. Я вечером посмотрю в лучшем составе.

– Тогда спасибо, – поблагодарила я, обнаруживая радость одними глазами, как собака.

Мы улыбнулись друг другу и разошлись довольные: я тем, что пойду в театр, а она тем, что не пойдет.

Есть зрители неблагодарные: им что ни покажи – все плохо. Я – благодарный зритель. Мне что ни покажи – все хорошо.

Мои реакции совпадают с реакцией зала, просто они ярче проявлены. Если в зале призадумываются – я плачу, а если улыбаются – хохочу.

Мне все сегодня нравится безоговорочно: пьеса, которая ни про что, артисты, которые из всех сил стараются играть не хуже основного состава. Может быть, у них в зале знакомые или родственники и они стараются для них.

Мой сосед справа похож на молодого Ива Монтана – тот современный тип внешности, о котором можно сказать: «уродливый красавец» или «красивый урод». Он не особенно удачно задуман природой, но точно и тщательно выполнен: точная форма головы, вытянутая шея, вытянутые пальцы, вытянутая спина. Все вытянуто ровно настолько, насколько положено, ни сантиметра лишнего. Хорошо бы он на мне женился.

Спектакль окончился традиционно. Зло было наказано, а справедливость восторжествовала.

Так должны заканчиваться все спектакли, все книги и все жизни. Необходимая традиционность.

Я не люблю выходить из театра, не люблю антрактов – вообще мне не нравится быть на людях. На людях хорошо себя чувствуют начинающие знаменитости – все на них оглядываются и подталкивают друг друга локтями. А когда ты идешь и тебя никто не замечает, появляется ощущение, что ты необязательна.

– Девушка, извините, пожалуйста...

Кто-то меня все-таки заметил. Я обернулась и увидела Ива Монтана. «Сейчас спросит, где Третьяковская галерея», – догадалась я.

– Где вы взяли ваш билет? – спросил Ив Монтан.

– Мне его подарили.

– Кто?

– Блондинка. – Я хотела добавить «красивая», но передумала.

– Она еще что-нибудь говорила?

– Да. Она сказала, что посмотрит спектакль в лучшем составе.

Что ж, может быть, блондинка не любит уродливых красавцев, а предпочитает красивых красавцев или уродливых уродов. Чистота стиля.

Мы вышли на улицу. Весь июль и первую половину августа шли дожди. А так как природа все уравнивает, то на вторую половину пришлось вся жара, причитающаяся лету. Было так душно, что плавился асфальт.

– А как отсюда добраться до Третьяковки? – поинтересовался Ив Монтан.

«Наконец-то дождалась», – с удовлетворением думала я.

– Вы приезжий?

Все, кто приезжает в Москву из других городов, сейчас же бегут в Большой театр или в Третьяковскую галерею, даже если это им совершенно неинтересно.

– Приезжий, – сознался Ив Монтан.

– Откуда?

Я думала, он скажет «из Парижа».

– Из Средней Азии, – сказал Ив Монтан.

– А зачем вам Третьяковка? Вы любите живопись?

– Нет. Я хожу смотреть туда одну картину, «Христос в пустыне».

– Крамской, – вспомнила я.

– Наверное. Там Христос сидит на камне, а я перед ним на диванчике. В такой же позе.

Посидим вместе час-другой, начинаем думать об одном и том же.

– О чем?

– Так. О себе, о других.

– А о ком вы думаете лучше – о себе или о других?

– Конечно, о себе. Вам в какую сторону?

– Мне все равно, – сказала я. Мне действительно было совершенно безразлично.

Мы смешались с толпой и пошли в непонятном для себя направлении. Может быть, у Ива Монтана тоже было развито стадное чувство.

– Нравится вам Москва?

Этот вопрос обязательно задают иностранцам, а иностранцы обязательно отвечают, что больше всего им понравились простые люди.

– Город – это прежде всего люди, – ответил Ив Монтан. Он держался как иностранец на Центральном телевидении. – Я люблю тех, кто меня любит. В Москве меня не любят. Поэтому мне больше нравится Киев.

– Мещанский город! – высокомерно сказала я.

В Киеве живет моя родственница – настоящая мещанка. Когда я приезжала к ней на каникулы – заставляла меня наряжаться на базар.

– Мещане в свое время умели жить медленно и внимательно, – сказал Ив Монтан. – Сейчас этого не умеют. Все торопятся. А зачем?

– Чтобы успеть на свой поезд. В долгую счастливую жизнь.

– Когда торопиться, быстро устаешь. А чтобы жить долго, надо совсем другое.

– Что же надо?

– Заниматься спортом. Плавать.

– И все? – разочарованно спросила я.

– Вам мало?

– Конечно. Кроме спорта, существуют наука, искусство, политика...

– Спорт – это и наука, и искусство, и политика. В борьбе побеждает сильнейший, в беге быстрее. Красиво дерутся, красиво бегут. Судят беспристрастные судьи. Выигранное соревнование – это мгновение плюс жизнь.

– А я физкультурную форму всегда забывала, – с сожалением вспомнила я.

– А чем вы занимаетесь? – спросил Ив Монтан.

– Ничем. Я себя не нашла.
– Зачем вам себя искать? Вы уже есть.
– Думаете, этого достаточно?
– Вполне достаточно: умная, молодая, красивая...
– Умная и молодая – правильно, – подтвердила я. – Но не красивая. У меня психология не та.

– Непонятно.
– У красивых одна психология, а у некрасивых другая, – объяснила я. – У меня та, которая у некрасивых.

– Что же это за психология?
– Как бы вам объяснить... Бывают зрители благодарные, а бывают неблагодарные. Для них и пьесу пишут, и декорации рисуют, и актеры стараются, а они сидят нога на ногу, будто так и должно быть. Все для них в этой жизни – и города для них поставлены, и моря налиты. Понимаете? А я совсем другой зритель. Вот луна на небе – я ей ужасно благодарна. Вы со мной разговариваете – я просто счастлива.

– Вам правда не скучно?

Ив Монтан почему-то задержался на этой мысли, хотя меня больше интересовала другая.

Мимо нас, таинственно ступая, прошагала кошка. Может быть, она направлялась к луже с шестипроцентным молоком. У каждого в этой жизни свой маршрут.

– А куда мы идем? – спросил Ив Монтан.

– Не знаю. – Я остановилась. – Я думала, вы знаете.

– Пойдемте ко мне, – пригласил Ив Монтан.

– Куда?

– Ко мне. – Он решил, что я не расслышала.

Прежде чем решать что-либо, мне надо было отделить рациональное от эмоционального и выяснить перспективы отношений.

– Вы надолго приехали?

– На десять дней. На семинар.

– А какая у вас специальность?

– Инструктор по плаванию.

– Что это значит – «инструктор»?

– Человек, который учит плавать.

– А какое у них будущее – у тех, кто учит плавать?

– Будущее в основном у тех, кто плышет.

Все сошлось. Нормальный человек – без будущего и без перспектив отношений. Я испытала облегчение, доходящее до восторга, – как тогда, когда прыгнула в ненужный поезд.

Ив Монтан жил в гостинице. Когда мы вошли в его номер, я испытала оторопь и некоторую растерянность, но было уже поздно, потому что поезд тронулся.

Номер был хорош тем, что в нем не было ничего лишнего: кровать, чтобы спать, стол, чтобы писать письма, графин со стаканом, чтобы пить воду. Книг, чтобы читать, не было. Пианино, чтобы играть, тоже не было. Проводи свое время как хочешь, лежи на кровати, пей кипяченую воду.

– Куда сесть? – спросила я, так как стул был заставлен коробками.

Ив Монтан кивнул на кровать. Я села прямо на покрывало, хотя мама воспитывала меня совершенно иначе.

Итак, я сижу на кровати в номере у мужчины. Это со мной впервые, но, видимо, все в жизни бывает первый раз. Если бы моя мама меня не била и не заставляла каждый день

искать смысл жизни, я сейчас сидела бы дома, читала про катушку и кусок железа или вязала крючком. Значит, во всем виновата мама, из-за нее я дошла до жизни такой.

Когда находишь виноватого, становится легче. Мне тоже стало легче, зато Ив Монтан чувствовал себя затруднительно. Когда приходят гости, их надо развлекать беседой и поить кофе. Кофе у него не было, подходящей темы тоже не было. На улице ему было как-то освобожденнее.

– Садитесь, – подсказала я.

Ив Монтан послушно сел возле меня на покрывало.

– Как вас зовут? – торопливо поинтересовалась я. Это было самое подходящее время для знакомства.

– Иван. – Он протянул руку ладонью вверх. Такой доверительный жест предлагают собаке – чтобы не укусила. Я недоверчиво, как незнакомая собака, заглянула в развернутую ладонь. Линия жизни была у него длинная – долго будет жить. А линия ума – короткая. Дурак. Возле большого пальца эти линии сходились в букву «М»: линия ума совпадала с линией жизни. Не такой уж, значит, дурак, кое-что понимает. Бугров под пальцами не было. Бугры – признак таланта. Иван Монтан имел ладонь плоскую, как пятка. От таланта был освобожден совершенно.

– Иван, – повторила я, – сокращенно Ив...

Мне следовало назвать свое имя и протянуть свою ладонь. На моей ладони читались признаки и ума, и таланта, но линии ума и жизни не соединялись в букву «М», а шли каждая сама по себе.

Это означало, что вообще-то я умная, но своим умом не пользуюсь, живу как идиотка. Сегодня это особенно проявлялось.

– А почему блондинка не пошла с вами в театр? – спросила я. Меня мучила эта тайна.

Ив Монтан не ответил. Он убрал свою ладонь, сунул ее в карман. Мы сидели на одной постели такие отчужденные, будто были мужем и женой и прожили вместе двадцать лет.

Он встал, подошел к письменному столу и, присев на корточки, выдвинул нижний ящик.

Я ожидала, что Иван Монтан достанет шахматы или книгу с картинками, но он достал маленькую бутылку ликера с изящной этикеткой. Когда он выдвигал, а потом задвигал ящик, там что-то тарахтело. От живого созерцания я перешла к абстрактному мышлению и догадалась, что тарахтят бутылки.

– Вы алкоголик? – поинтересовалась я.

– Нет. Пьяница.

– А какая разница?

Ив Монтан посмотрел на меня, и я поняла, что выступила как дилетант.

– Пьяница хочет – пьет, а не хочет – не пьет, – объяснил он. – А алкоголик хочет – пьет и не хочет – тоже пьет.

– Понятно. А зачем вы пьяница? Вам трезвому скучно?

– Просто я устаю к концу дня и снимаю напряжение. Черчилль, например, выпивал в день бутылку армянского коньяка.

Ив Монтан разлил ликер – мне в стакан, а себе в крышку от графина. В номере запахло кофе, потому что ликер был кофейный.

– А почему Черчилль пил коньяк, а не ликер? – удивилась я.

– Ему было чем закусывать, – неопределенно объяснил Ив Монтан. Он сел возле меня и стал на меня смотреть. – Сколько тебе лет?

– Восемнадцать.

Он поднял свою бесталанную ладонь и погладил меня по волосам.

– Блестят, – проговорил он. – Почему они у тебя блестят?

– Чистые... – сказала я и замолчала.

Ив Монтан был неправ. Ликер не снимал напряжения. Наоборот. У меня возникло такое ощущение, будто я несусь в скоростном лифте, когда в печенках что-то обрывается и ухает вниз, а голова становится легкой и вот-вот отлетит. Вот-вот я потеряю свою голову с чистыми волосами.

Есть такая болезнь – клаустрофобия. Это боязнь замкнутых пространств. Такие люди, например, не могут ездить в лифте. Я ничего не знаю больше об этой болезни, но вдруг остро почувствовала симптомы клаустрофобии. Мне жутко стало от замкнутого пространства, в котором совершенно не оставалось больше воздуха – нечем было дышать до того, что даже говорить невозможно.

Я вскочила с постели, отбежала к окну. Ив Монтан смотрел на меня очень внимательно – может быть, решил, что я собралась выбраться с седьмого этажа.

– У тебя что-нибудь было? – спросил он.

– Было.

– Если не хочешь, можешь не рассказывать.

– Мы вместе учились, – начала я. Мне лучше было рассказывать. Лучше произносить текст, чем молчать. – А потом мы вместе копали картошку в колхозе. Нас послали туда всем классом, но работать не хотелось. А он копал с утра до вечера. Он говорил, что это для него принципиально. Раз приехали работать – надо работать, а не прятаться по углам.

– Ну а потом...

– А потом я тоже стала копать вместе с ним.

– И все?

– Все.

– Значит, ничего не было?

– Почему же? Производственная любовь...

– А чем она кончилась?

– Мы вернулись в Москву, он себе блондинку нашел.

– Обидно?

– Ну вот, обидно... Гордиться должна. Если любишь человека, надо жить его интересами.

Ив Монтан выпил полкрышки, подвинулся поближе к стене, чтобы сидеть удобно было.

Клаустрофобия моя кончилась, замкнутое пространство разомкнулось как-то само собой.

– А я не помню, какой я был в восемнадцать лет, – сказал Ив Монтан. Он как-то незаметно перестроился из красивого уродя в красивого красавца, нравился мне больше, чем в театре, и больше, чем Петров в колхозе. Удивительно, что блондинка не пошла с ним в театр.

– Хотите, я тоже стану блондинкой? – предложила я. – Два часа – и блондинка.

– Не хочу, – сказал Ив Монтан. – Зачем тебе быть как все?

В номере было тепло и отгорожено от внешнего мира. Мы сидели вместе – красивый красавец и индивидуальная брюнетка – не такая, как все.

Мне хотелось, чтобы так продолжалось долго, но Ив Монтан посмотрел на часы.

– Пошли! – скомандовал он.

– А можно еще посидеть?

– А что мы будем делать?

– Общаться... духовно, – уточнила я.

– Для духовного общения надо ходить в Третьяковскую галерею, а не в номер к одинокому мужчине.

– Тогда пойдемте в Третьяковскую галерею, – предложила я. Мне не хотелось домой. – Посмотрим на Христа. Подумаем о себе, о других...

Мы отправились смотреть Христа, но не в Третьяковскую галерею, а в церковь. Так было ближе.

Во дворе за оградой стояла белая «Волга», принадлежавшая, видимо, попу.

В церкви было много старух, а обладатель белой «Волги» стоял в ризе и пел баритоном.

Когда мы ступили в церковь, старухи упали на колени – не перед нами, а потому что так надо было по ходу службы. Все упали на колени, кроме нас и попа. Мы посмотрели друг на друга с доброжелательным любопытством.

На мне было надето короткое платье, покроем и размером похожее на мужскую майку. Из-за майки с боков и снизу текли мои нескончаемые голые руки и такие же нескончаемые голые ноги. Поп посмотрел на все это, допел свою фразу, энергично замахал кадилом – энергичнее, чем раньше, а хор подхватил высокими голосами: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй мя...»

Когда я слушала церковное песнопение, со дна моей души поднималось что-то светлое, неконкретное, я чувствовала в себе пристальную связь с прошлым, и у меня слезы подступали к глазам.

Ив Монтан стоял возле моего плеча, торжественный и просветленный. Высоко кричал хор, крестились старухи. Мне казалось, будто мы венчаемся.

Потом вышли на улицу сменить обстановку. Ив Монтан купил на выходе свечку и, разломав на две части, отдал мне половину.

«Вместо кольца», – подумала я.

«Повенчавшись», мы отправились в свадебное путешествие. На городской пляж.

Я сидела прямо на камнях, а Ив Монтан нашел где-то заржавленные детские санки и сидел на санках. У него был радикулит, он боялся простудиться.

Вдоль набережной зажглись фонари. Световые дорожки дробились в воде. На середине реки тревожно и страстно скрипели баржи.

– Ты с кем живешь? – спросил Ив Монтан.

– С мамой.

– А отец где?

– У меня его не было.

– Значит, твоя мать одна живет?

– Почему одна? Со мной.

– Несчастливая баба... – задумчиво сказал Ив Монтан.

Я очень удивилась. Я почему-то никогда не думала об этом. Я никогда не смотрела на свою мать с этой точки зрения.

– Она интеллигентный человек? – спросил Ив Монтан.

– Нет, – не сразу сказала я.

– А чем она занимается?

– Преподает зарубежную литературу. Инструктор по Чарльзу Диккенсу.

Я поднялась, стащила через голову платье и пошла, преодолевая коленями тугую воду. Выбросила вперед руки, медленно упала, почувствовала сначала ожог, потом блаженство. Плаваю я плохо, но держусь на воде хорошо. И когда я держалась на воде, вспоминала генами те времена, когда была тритоном и переживала эту стадию эволюционного развития. Ученые говорят, что в каждой человеческой клетке заложена вся информация: кем человек был, что он есть и кем будет. В воде мои клетки кричали, что я была земноводная, сейчас – никто, ничто и звать никак, я буду человек-амфибия с легкими и жабрами, а может, даже с крыльями и полыми костями.

Ив Монтан сидел на берегу, на детских санках.

– Эй! – крикнула я. – Инструктор! Научите меня плавать!

– Мне надоело учить!

– Тогда плавайте сами!

– Не хочу!

Я вышла из воды, села у его ног на теплые камни.

– А ты что собираешься делать? – спросил Ив Монтан.

– Сейчас или вообще? – не поняла я.

– Вообще. – Его, как и маму, заинтересовал мой социальный облик.

– Мне бы хотелось найти какое-нибудь веселое занятие. Не в том смысле, что смешно или легко. Пусть будет трудно, но весело. Есть такая специальность?

– Есть. Культработник в доме отдыха.

– Культработник – это инструктор по веселью. А я хочу тихо нести праздник. Для этого не обязательно разгадывать викторины и прыгать в мешках.

На противоположном берегу размещался стадион «Лужники». Оттуда доносился неясный гул – может быть, в этот самый момент там шли спортивные соревнования.

– Холодно? – Ив Монтан положил руку на мое плечо.

Я не ответила. Ощущение счастья похоже на ощущение высоты. Необычно и страшно. Он прислонил мои мокрые плечи к своей накрахмаленной рубашке. Стало еще выше и еще страшнее.

Где-то за кулисами нервничали спортсмены. А я была на сцене и играла самую главную роль.

Ив Монтан поцеловал меня – осторожно, как мама. Я и раньше целовалась на катке, вернее, после катка. И на вечере, вернее, после вечера. Я и раньше закрывала глаза, чтобы не отвлекаться на посторонние предметы. Но сейчас все было иначе, чем раньше. Я почувствовала ожог, потом блаженство, будто упала в холодную воду. Мои клетки несли совсем другую информацию: я всегда, всю жизнь сидела у его ног, и над моей жизнью всходило его лицо.

– А почему блондинка не пошла с вами в театр?

Это был провокационный вопрос. Я ждала, что Ив Монтан поблагодарит судьбу, которая предложила ему вместо блондинки меня.

– Не захотела, – сказал Ив Монтан. Не понял моей провокации.

– Могла бы просто не пойти – и все. Зачем было отдавать билет? Демонстрация...

Я совсем близко подвела его к нужной мысли. Он должен был сказать: «Тогда я не встретил бы тебя...»

– Конечно, некрасиво, – согласился Ив Монтан.

– Тогда вы не встретили бы меня, – прямо сказала я. Мне надоели намеки.

– Она хотела, чтобы я понял. И я понял, только не то, что она хотела.

Я почувствовала, что не в силах переключить его внимание с блондинки на себя.

– Сколько вам лет? – Я решила переключить внимание на него самого, а заодно поближе познакомиться.

– Тридцать один.

– Вы женаты?

– Женат.

– А как ее зовут?

– Так же, как тебя.

– Вы ее любите?

Ив Монтан напряженно задумался.

– Конечно, – вспомнил он. Было непонятно, о чем он думал так долго. Для того чтобы так ответить, можно было не думать вообще.

– А как же блондинка? – удивилась я.

– Блондинка – это блондинка, а жена – это жена.

– А я – это я?

– А ты – это ты.

Вспарывая воду, прошел речной трамвайчик. Кто-то возвращался на нем из своего свадебного путешествия.

– Но я так не хочу.

– А как ты хочешь?

– Я хочу, чтобы жена – это я, блондинка – это я и я – это я. Всю жизнь.

– Конечно, человек должен заниматься одним делом и жить с одной женщиной. Но бывает, что не найдешь своего дела и не встретишь свою женщину. Все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было. Поэтому надо уметь радоваться тому, что есть, а не печалиться о том, чего нет.

– А я так не хочу! Я так не буду!

– Будешь. Все так живут.

Моя мама во всем видит проблемы, а Ив Монтан ни в чем не видит никаких проблем. С мамой я, как бестолковый альпинист, постоянно преодолеваю горные вершины. А с Ивом Монтаном я бреду по пустыне Каракумы и не вижу ни одного холмика.

– А я знаю, почему блондинка не пошла с вами в театр.

– Почему? – Он обернулся.

– Потому что вы инструктор. Учите, как плавать, а сами не плаваете. Учите, как жить, а сами не живете.

– Дурочка, – сказал Ив Монтан. – В восемнадцать лет я такой же был.

– А вы не помните себя в восемнадцать лет.

– Откуда ты знаешь?

– Вы сами сказали.

Я поднялась, стала натягивать свою «майку». Ив Монтан достал папиросу, поставил ноги на санки – так, будто собирался скатиться. Но полозья были ржавые, вместо снега – камни. Да и куда ему было ехать? Разве что в реку... Мне вдруг стало неудобно бросать его одного в чужом городе на выброшенных санках.

– Хотите, я вас домой провожу? – предложила я.

– Ты что, обиделась? – заподозрил он.

На что я могла обидеться? Он ничего не обещал мне и не хотел казаться иным, чем есть на самом деле. Правда, я приняла его за Иву Монтана, а он оказался инструктором по плаванию из Средней Азии. Но ведь это была моя ошибка, а не его. Он был ни при чем.

– Просто вы приезжий, – объяснила я. – А я здесь живу...

Весь день стояла жара, а так как природа все уравнивает, ночью прошел дождь. Асфальт стал блестящим, а лужа возле нашего дома заметно выпела. В ней увеличился процент воды. Я шла в «майке», обхватив себя руками, чтобы не трястись от холода. У меня дрожали все внутренности, я просто физически устала от этой вибрации. Я была пустая настолько, что даже кости были полые, как у птицы, и ветер гудел в них – оттого, наверное, так холодно было.

Лифт в доме был выключен, я пошла пешком и где-то в районе третьего этажа вспомнила про соль. Была уже ночь, магазины закрыты. Соль можно было достать только у нашей дворничихи Нюры. Она жила на первом этаже, и у нее в прихожей стоял целый мешок соли – крупной и мутной, как куски кварца. Этой солью она посыпала зимой скользкие дорожки, чтобы люди не падали.

Нюра открыла мне дверь босая, в ночной рубашке. Выслушав мою просьбу и мои извинения, уточнила:

– Тебе много?

– Да нет, – сказала я, – чуть-чуть...

Она ушла, потом вернулась и протянула мне спичечный коробок, туго набитый солью. Я поблагодарила, а Нюра не слушала, смотрела на меня задумчиво и вдруг спросила:

– Тебе, Танька, сколько лет?

– Восемнадцать.

– Дура я, – решила Нюра. – В войну надо было б мне ребенка принести, сейчас бы уже такая была...

– Больше, – сказала я.

– Даже больше, – огорчилась Нюра. – Совестно было – с ребенком и без мужика. А уж лучше одной, чем с каким алкоголиком...

– Или с пьяницей.

– Это все одно.

– Нет, – сказала я, – это большая разница: пьяница хочет – пьет, не хочет – не пьет. А алкоголик и хочет – пьет и не хочет – тоже пьет.

Когда я вернулась домой, мама подметала квартиру – наводила мещанский уют. Уют современных мещан, которые живут медленно и невнимательно. Она выпрямилась, стала смотреть на мои голые руки и ноги, на обвисшие после купания неорганизованные волосы.

– Где ты была? – спросила мама и поудобнее взялась за веник. Было непонятно – то ли она хотела на меня нападать, то ли от меня защищаться.

– На! – Я протянула ей спичечный коробок.

– Что это? – растерялась мать.

– Соль, – объяснила я. – Ты же просила...

– А где ты ее взяла?

– Сама выпарила.

Я повернулась и пошла в ванную. Мне хотелось побыть одной, а главное – согреться.

В меня медленно входило тепло, заполняя мои кости. За дверью осторожно, будто я сплю, двигалась мама, и я поняла вдруг, что она несчастная баба, что ей тоже было столько лет, сколько мне. Поняла, что у меня был отец – может быть, такой же, как Ив Монтан. Может быть, мама тоже хотела заниматься одним делом и жить с одним человеком, но у нее ничего не получилось, потому что все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было.

Я вспомнила, как Ив Монтан отломил мне полсвечки, и заплакала.

Слезы скатывались к ушам, а потом приобщались к остальной воде. Вода и слезы были одинаковой температуры, мне казалось, будто я лежу, погруженная в собственные слезы.

В дверь постучала мама.

– Тебе Петров звонил, – сказала мама.

Я не отозвалась, наивно полагая, что мама постучит и уйдет. Но мама не уходила.

Я вышла из собственных слез, надела халат и стала вытирать лицо. Терла до тех пор, пока оно не сделалось красным.

Мама посмотрела на меня и вдруг сказала:

– Таня, хочешь, я не буду тебя больше бить?

– Все равно... Ты ведь не целишься.

– Я тебя больше пальцем не трону, – пообещала мама. – Иди поешь.

– Не хочу.

– А что ты хочешь?

Я пошла в комнату и стала стелить свой диван. Возле дивана стоял ящик для белья – с дырками, чтобы проникал воздух. Я наклеила однажды на дырки с внутренней стороны рисованные рубли – получилось, будто ящик набит деньгами.

– Я не знаю, чего я хочу, – сказала я маме. – Я знаю, чего не хочу.

Мама ждала.

– Я не хочу быть инструктором... Я хочу сама плавать или посыпать дорожки солью, чтобы другим ходить удобно было. И я просто счастлива, что провалилась в педагогический. Я больше не буду туда поступать.

– А как ты собираешься дальше жить?

– Чисто и замечательно.

– Таня, если ты будешь так со мной разговаривать...

Мама хотела добавить что-то, но вовремя спохватилась. Все-таки обещала не трогать меня пальцем и даже давала честное слово.

Зануда

Нудным человеком называется тот, который на вопрос: «Как твои дела?» – начинает рассказывать, как его дела...

Женька был нудным. Он все понимал буквально. Если он чихал и ему говорили: «Будь здоров», отвечал: «Ладно». Если его приглашали: «Заходи», он заходил. А когда спрашивали: «Как дела?», начинал подробно рассказывать, как его дела.

Люся и Юра не считались нудными, понимали все так, как и следует понимать: если их приглашали – «заходите», они обещали и не заходили. На пожелание «будьте здоровы» отвечали «спасибо». А на вопрос «как дела?» искренне делились: «Потихоньку».

Юра закончил один институт, а Люся два – очный и заочный. У нее было наиболее высокое образование по сравнению с окружающими. Образование, как известно, порождает знание. Знание – потребность. Потребность – неудовлетворенность. А неудовлетворенный человек, по словам Алексея Максимовича Горького, полезен социально и симпатичен лично.

Люся была полезна и симпатична, чем выгодно отличалась от нудного Женьки. Они жили на одном этаже, но никогда не общались, и линии жизни на их ладонях шли в противоположных направлениях. Поэтому появление Женьки на пороге Люсиного дома было неоправданным, тем не менее это случилось в одно прекрасное утро.

– Здравствуйте, – сказала Люся, так как Женька молчал и смотрел глазами – большими и рыжими.

– Ладно, – ответил Женька. Слово «здравствуйте» он понимал как обращение и понимал буквально: будьте здоровы.

Люся удивилась, но ничего не сказала. Она была хорошо воспитана и умела скрывать свои истинные чувства.

– У меня сломалась бритва, – сказал Женька. Голос у него был красивый. – Я бы побрился бритвой вашего мужа. Но это зависит не только от меня.

– Пожалуйста. – Люся не умела отказывать, если ее о чем-нибудь просили.

Она привела Женьку на кухню, положила перед ним бритву и зеркало, а сама ушла в комнату, чтобы не мешать Женьке и чтобы написать корреспонденцию о молодежном театре. Написать было не главное, а главное – придумать первую фразу, точную и единственно возможную. Заведующий отделом информации обязательно требовал первую фразу. Если ее не было, он дальше не читал.

Люся попробовала сосредоточиться, но за дверью жужжала бритва, и в голову лезли посторонние мысли. Например: хорошо бы в этом году ей исполнилось не 27, как должно, а 26, а на следующий год 25, потом 24 и так до двадцати. Тогда через семь лет ей было бы не 34, а 20.

Мысли эти не имели ничего общего с молодежным театром и не годились для первой фразы. Люся вылезла из-за стола и пошла на кухню, чтобы узнать, как продвигаются Женькины дела.

Дела продвигались медленно, возможно, потому, что смотрел Женька не в зеркало, а мимо – на стол, где стояла банка сгущенного молока, творог и «Отдельная» колбаса.

Люся поняла, что Женька хочет есть.

– Налить вам чаю? – спросила она.

– Как хотите. Это зависит не от меня.

Люся удивилась, но ничего не сказала. Она не хотела разговаривать, чтобы не рассредоточиться и сохранить себя для первой фразы.

Она налила ему чай в высокую керамическую кружку, подвинула ближе все, что стояло на столе.

Женька молча начал есть. Ел он быстро – признак хорошего работника, и через пять минут съел все, включая хлеб в хлебнице и сахар в сахарнице. Потом он взял с подоконника «Неделю» и стал читать. Что-то показалось ему забавным, и он засмеялся.

– Вы поели? – спросила Люся.

Она ожидала, что Женька ответит: «Да. Большое спасибо. Я, наверное, вас задерживаю, я пойду». Но Женька сказал только первую часть фразы:

– Да. – «Спасибо» он не сказал. – Я вам мешаю? – заподозрил он, так как Люся продолжала стоять.

– Нет, ну что вы... – сконфуженно проговорила она и ушла в другую комнату.

Она слышала, как Женька переворачивает страницы. Потом что-то грохнуло и покати-лось – видимо, со стола упала тарелка или керамическая чашка.

Люсе не жалко было ни тарелки, ни чашки, а жалко утреннего времени, которое она так ценила и которое уходило зря. Люся почти материально ощущала в себе талант и отдавала его людям. Обычно она делала это по утрам, но сегодня ей помешал Женька, и Люся чувствовала свою вину перед человечеством.

И Женька тоже чувствовал себя виноватым.

– Я уронил... – сказал он, появившись в дверях.

– Ничего, – равнодушно ответила Люся, – не обращайтесь внимания.

– Хорошо, – согласился Женька, кивнул и прошел к письменному столу.

Женька побрился и поел, выкурил хорошую сигарету, прочитал «Неделю» от корки до корки, до того места, где сообщался адрес редакции. А теперь ему хотелось поговорить. Ему хотелось, чтобы его послушали.

– А меня с работы выгнали, – доверчиво поделился Женька.

– Где вы работали? – поинтересовалась Люся.

– В клубе жэка. Хором руководил.

– Интересно... – удивилась Люся.

– Очень! – согласился Женька. – Когда дети поют, они счастливы. Хор – это много счастливых людей.

– Почему же вас выгнали?

– Я набрал половину гудков.

– Каких гудков?

– Ну... это дети, которые неправильно интонируют. Без слуха...

– Зачем же вы набрали без слуха?

– Но ведь им тоже хочется петь.

– Понятно, – задумчиво сказала Люся.

– Конечно, – вдохновился Женька. – А начальница не понимает. Говорит: «Хор должен участвовать в смотре». Я говорю: «Вырастут – пусть участвуют, а дети должны петь».

– Не согласилась? – спросила Люся.

– Она сказала, что я странный и что ей некогда под меня подстраиваться. У нее много других дел.

Женька затянулся, и полоска огонька на его сигарете подвинулась ближе к губам, а столбик из пепла стал длиннее. Он стал таким длинным, что обломился и мягко упал на Женькин башмак, а с башмака скатился на ковер.

– Уронил... – удивился Женька, внимательно глядя на ковер. – Я могу поднять...

– Не надо, – сказала Люся. Она испытывала раздражение, но не хотела это обнаружить.

Женька посмотрел на нее, и Люсе почему-то стало неловко.

– Не надо, – повторила она. – Это мелочь...

– Ну конечно, – согласился Женька. Для него это было очевидно, и он не понимал, зачем об этом говорить так много.

Женьке было тепло и нравилось смотреть на Люсю, и он рассказал ей, как правильно приготовить водку; для этого нужно в бутылку «Столичной», которая покупается в магазине за три рубля семь копеек, бросить несколько кристалликов марганцовки, которая продается в аптеке и стоит гораздо дешевле. Через два дня эту водку следует процедить сквозь вату, на вате останется осадок – черный как деготь, а водка идет голубая и легкая, как дыхание.

Женька ходил по комнате, сунув руки в карманы, обтянув тощий зад, и рассказывал – уже не о водке, а о женщинах.

Женька знал двух женщин. С одной ему было хорошо и без нее тоже хорошо. Без другой ему было плохо, но с ней тоже плохо. Женька мечтал о третьем возможном варианте, когда с ней ему будет хорошо, а без нее плохо.

Поговорив немного о любви, Женька перешел к дружбе. Он рассказал Люсе о своем приятеле, который на спор выучил язык народности таты. Этот язык знают только сами таты и Женькин приятель, и больше никто.

От друзей Женька перешел к хорошим знакомым, а от них – к родственникам.

В пять часов с работы вернулся Юра. Увидев его, Женька остановился и замолчал.

– Добрый день, – поздоровался Юра.

– Да, – согласился Женька, потому что считал сегодняшний день для себя добрым.

Юра удивился этой форме приветствия и тому, что в гостях Женька, что накурено и пепел по всему дому, что Люся сидит в углу, сжавшись, без признаков жизни.

Все это выглядело странным, но Юра был человеком воспитанным и сделал вид, что всё правильно, – именно так все и должно выглядеть.

– Как дела? – спросил Юра у Женьки.

– На работу устраиваюсь, – с готовностью откликнулся Женька. – Странная, в общем, работа, но дело не в этом. Когда человек работает, он не свободен, потому что по большей части делает не то, что ему хочется. Но, с другой стороны, человек не всегда знает, что ему хочется. – Женька вдохновился и похорошел. Он любил, когда интересовались его делами и когда при этом внимательно слушали. – Видите ли...

Женька запнулся, ему показалось, Юра что-то сказал.

– Что? – переспросил он.

– Ничего, – сказал Юра и повесил плащ в стенной шкаф.

Он вешал плащ, и лицо у него было рассеянное, и Женька понял, что слушал он невнимательно, и ему самому стало неинтересно.

– Я пойду... – неуверенно проговорил Женька.

– Заходите, – пригласил Юра.

– Ладно, – пообещал Женька и остался стоять. Ему не хотелось уходить, а хотелось рассказать все сначала, чтобы Юра тоже послушал. Но Юра молчал, и Женька сказал:

– До свидания.

«До свидания» он понимал буквально: то есть до следующей встречи. Женька ушел, а Люся легла на диван и заплакала.

Женька ушел в пять, а в восемь пришли гости.

Люся обычно надевала короткое платье без рукавов – у нее были красивые руки и ноги, – в меру короткое и в меру без рукавов. Когда мужчины видели столько красоты и меры – признак искусства, они громко восхищались Люсей и говорили, что она красивая и талантливая. Люся верила и делала вид, что не верит.

Гости вытирали у порога ноги, не кидали со стола чашек и не рассказывали про родственников. Помимо того, что гости были хорошо воспитаны, они были талантливы. Каждый умел делать что-нибудь такое, чего не умел никто другой.

Костя, например, обладал талантом трагедийного актера; когда он начинал жаловаться на свою жизнь, всем хотелось поставить локти на стол, опустить голову на ладони и горько просветленно зарыдать.

У Кости был сын, творческая работа и кооперативная квартира. В жизни ничего не дается даром, за все приходится платить либо деньгами, либо здоровьем. Костя платил деньгами. За квартиру – в рассрочку, за сына – двадцать пять процентов из месячной зарплаты, за творчество – отсутствием пенсии в старости. Расплачиваясь за все, Костя ничего не получал взамен. Квартира оказалась неудобной (за стеной жил скрипач), сын рос в другой семье, а творческая работа не обеспечивала постоянного заработка.

Эльга не имела никаких талантов. Это была Люсина подруга детства, а друзья детства не выбирают. Они как родственники – какие есть, такие есть. Эльга ни одного дня не могла прожить без любви. Если в ее жизни случался такой день, она просто ничего не соображала. Она не умела даже соображать без любви.

Третьего гостя звали Джинджи. Его фамилия была Джинджихашвили, но друзья постановили, что это не фамилия, а песня с припевом, и постановили ее урезать.

Джинджи обладал способностью громко хохотать без причины. Вернее, причин у него было достаточно: Джинджи был здоровый и сильный, умел хотеть и точно знал, чего хочет. У него была развита инерция равномерного прямолинейного движения.

У Юры, хозяина дома, такая инерция отсутствовала совершенно. Зато была развита инерция покоя. Шаман из вымирающего племени удэгейцев, дожив до 132 лет, сказал: «Счастье – это сама жизнь, и не надо искать иного». Ознакомившись с этой точкой зрения, Юра не стал искать иного счастья, кроме того, которое у него было.

Он сосредоточенно выпил рюмку и прислушался к себе. Прислушавшись, встал и направился к пианино. Юра умел исполнять «Весну» Грига и романс «Я встретил вас». «Весну» он выучил в детстве по нотам, а романс подобрал по слуху. И сейчас он играл и пел в точности, как Козловский, даже лучше. А все слушали, и всем хотелось счастья. И если счастье было, они не знали об этом, потому что никто не знает, как выглядит счастье, и хотели еще чего-то. Одним не хватало денег, другим здоровья, третьим власти над людьми, четвертым детей. Косте не хватало сразу первого, второго и третьего. Дети у него были.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.